



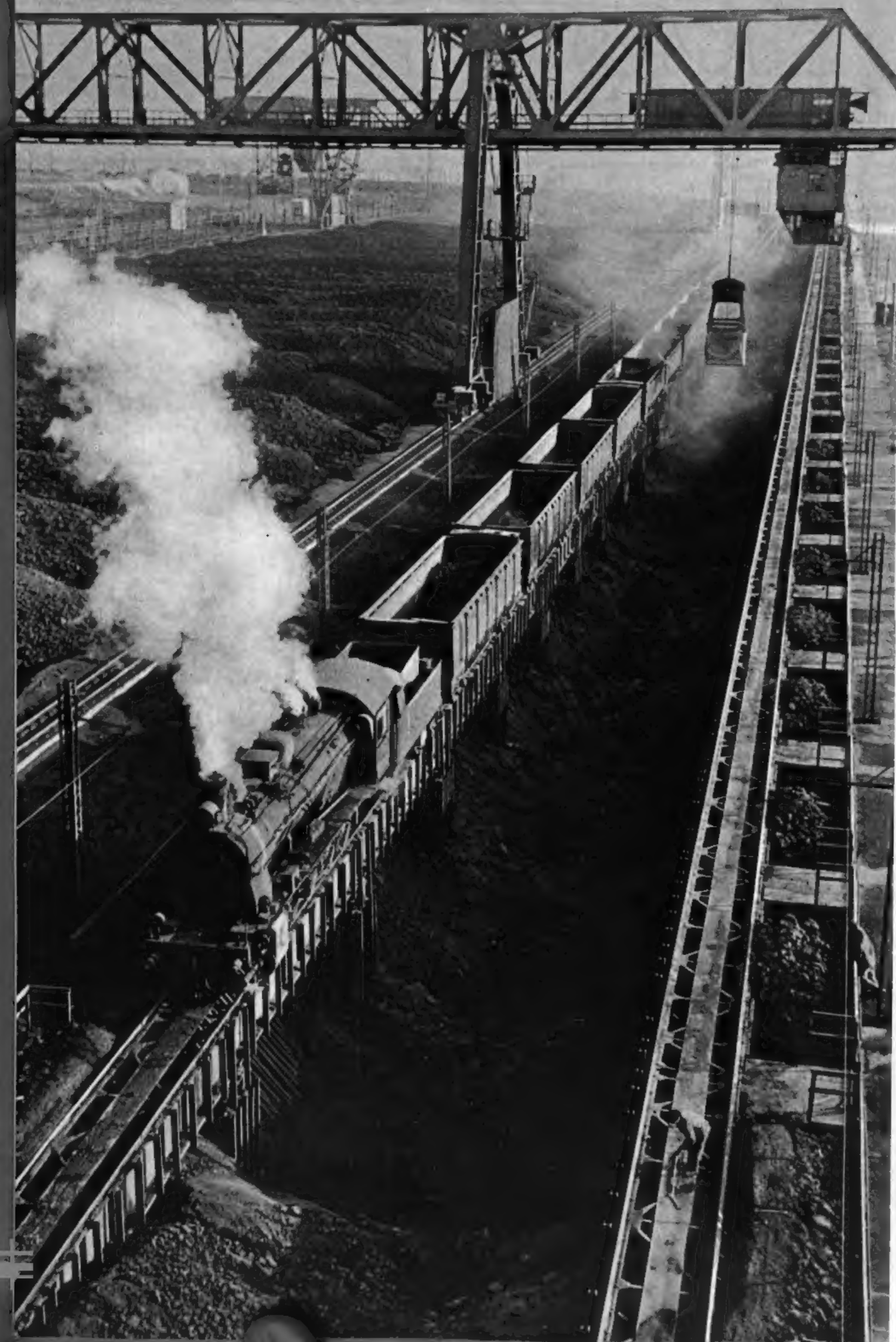
Ф. А. Моллер. ПОРТРЕТ Н. В. ГОГОЛЯ.

**ОГОНЁК**  
№ 14 МАРТ 1959  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В 11-5



Южный Горнообогатитель-  
ный комбинат в Кривом  
Рого. Отгрузка горячего  
агломерата.  
Фото Н. Наумова  
и Ю. Трушина.



На последней стра-  
нице обложки: Ураль-  
ский вагоностроительный  
завод в Нижнем Тагиле.  
У электросталеплавильной  
печи.  
Фото Г. Самсонова.

*Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*

# ОГОНЁК № 14 (1659)

29 МАРТА 1959

37-й год издания

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

23 марта в Большом Кремлевском дворце открылся XII съезд профессиональных союзов СССР.

Тепло встреченный участниками съезда член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. А. И. Кирichenko огласил приветствие Центрального Комитета партии XII съезду профсоюзов.

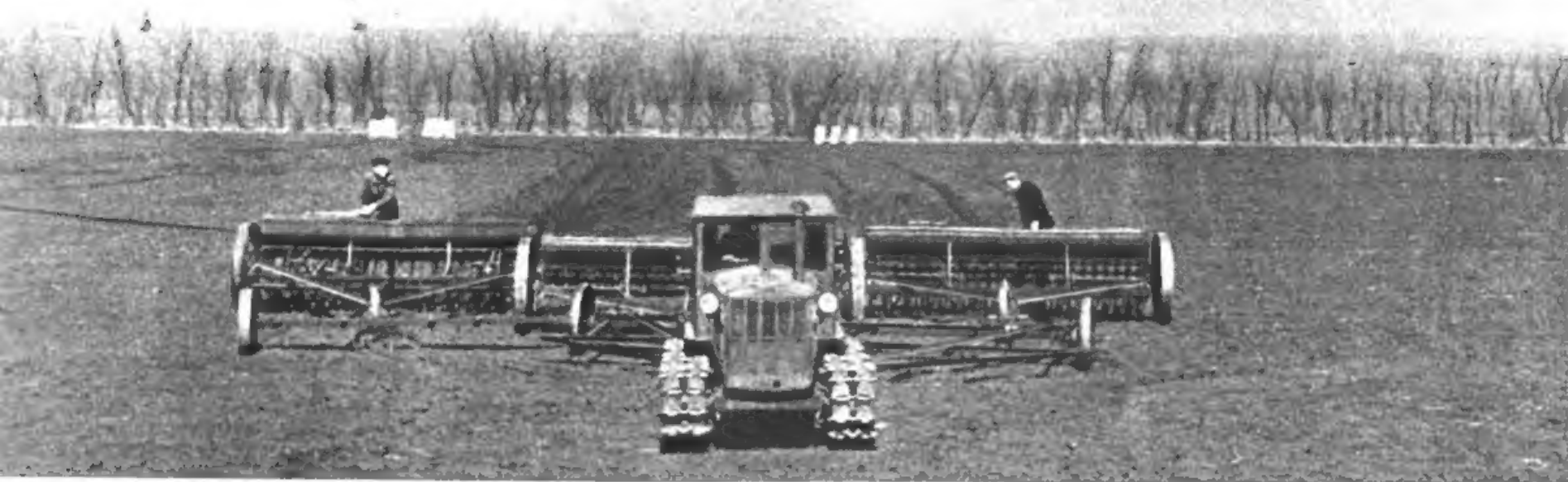
С отчетным докладом о работе ВЦСПС и задачах профессиональных союзов СССР в связи с решениями XXI съезда КПСС выступил Председатель ВЦСПС тов. В. В. Гришин.

Фото А. Новикова.





# УТРО СЕМИЛЕТКИ



Заместитель бригадира трактористов Н. Д. Емельяненко вручает трактористу В. П. Сапожникову новое задание.

Тепло на весеннем солнышке! Семидесятидвухлетний колхозный сторож Н. И. Косыга вышел с внучкой Валей и внуком Виталием на двор почитать газету.



Юг Украины. Настали дни весеннего сева. На полях колхоза имени Калинина, в Березовском районе, Одесской области.

Фото А. Узляна.

Нетерпеливое солнце сгоняет с полей остатки снегов, и широчайший плацдарм наступления открывается взору советского земледельца.

На беглый взгляд—это знакомый плацдарм. Не целина—обжитые земли. Но именно на этих землях—частью старопашотных, частью освоенных только вчера—предстоит совершить подвиг, который немногим уступит подвигам покорителей целины.

В прошлом году—и об этом с деловитой скупостью сообщало Центральное статистическое управление—валовой сбор зерна в стране достиг восьми с половиной миллиардов пудов. Восемь с половиной миллиардов пудов, и не «биологического», а амбарного урожая—такого количества хлеба еще никогда не получала за год наша Родина! Так сколь же смелы, сколь уверены в исполнившихся силах своих советские люди, если, начиная семилетку, они собираются перешагнуть и через этот рубеж!

Не распахка новых земель, а повышение урожайности—вот теперь главный и решающий источник роста валовых сборов зерна. Новое направление главного удара указал советским земледельцам XXI съезд партии, и первая весна семилетки началась как весна высокой агрономической культуры. В авангард наступления выдвинулись умные, смелые, деловые мастера урожая, оснащенные всеми родами оружия: от дальнобойных—правильных севооборотов—до орудий прямой наводки—отменных семян, удобрений, сжатых сроков и отличного качества.

Сев идет, но человеку, пришедшему, ска-

жем, из тридцатых годов, безлюдными покажутся сегодняшние поля Украины и Северного Кавказа.

— Да что же это так мало народу в поле? — с тревогой спросил бы у сегодняшнего земледельца человек тридцатых годов.

— В том-то и счастье, что мало,—ответил бы сегодняшний земледelec.—В том-то и счастье! Дешевле будет хлеб...

Да, от большого хлеба к большому хлебу шагает нынче деревня, и при этом шагает она к хлебу дешевому. Давно ли, кажется, на Кубани соревновались гектарники—люди, которые вручную растили кукурузу на гектаре земли. Прошло десятилетие, и новое слово, гордое слово—стогектарник—звучит над весенними полями Юга. Стогектарник! Еще вчера их было совсем немного, и страна во весь голос говорила о заповалах—Александр Гитлове и Николае Мануковском. Сегодня на Днепропетровщине, под Херсоном, на Одессчине, в Крыму, на Кубани, под Ставрополем тысячи и тысячи трактористов вышли в поле с уроком: обработать сто—полтораста гектаров на брата без всякого ручного труда! Дешев будет хлеб семилетки...

Каждый весенний час расширяет фронт наступления. Все новые и новые районы вступают в сев. Пусть же отличный зачин Юга—а в южных районах Украины и Северного Кавказа уже успешно ведут полевые работы,—пусть он послужит вдохновляющим примером для всех тружеников колхозной деревни.

Ярко, празднично началось утро семилетки. Оно разгорится в настоящий солнечный день!

Молодая колхозница Александра Ткаченко учится мастерству у опытного садовода И. А. Кочерги.





**ПАРТИЙНО-ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В ВЕНГРИИ.** В торжествах по случаю 40-летия провозглашения Венгерской Советской Республики приняла участие советская делегация во главе с членом Президиума ЦК КПСС, секретарем ЦК КПСС А. В. Аристовым.

На снимке: члены советской делегации вместе с первым секретарем ЦК Венгерской социалистической рабочей партии Яношем Кадаром и председателем Венгерского революционного рабоче-крестьянского правительства Ференцем Мюнкшином.

Фото МТИ.



**К ПРЕБЫВАНИЮ В АНГЛИИ СОВЕТСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ.** Руководитель делегации М. А. Суслов беседует с членом английского парламента, одним из лидеров лейбористской партии Эньюрином Бианом в Лондоне.

На днях делегация возвратилась в Москву.



**ОЧЕРЕДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ АРКТИКИ** отправилась на днях из Москвы. В Ледовитом океане будет открыта дрейфующая станция «Северный полюс — 8».

На снимке: на аэродроме в Москве незадолго до вылета — летчики М. Г. Завьялов, А. А. Каш, А. С. Поляков, командир летного отряда П. П. Москаленко, летчик Я. Я. Дмитриев, инженер А. Л. Хейфец, летчик М. П. Ступинский.

Фото А. Бочинина.

**ВСЕСОЮЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ НА КОНЬКАХ** проходили на днях во Дворце спорта Центрального стадиона имени В. И. Ленина.

Среди женщин лучших показателей добилась студентка Московского высшего технического училища Татьяна Лихарева, которая уже в четвертый раз завоевывает звание чемпионки Советского Союза.

У мужчин первое место занял Лев Михайлов.

В парном смешанном катании победителями вновь стали Нина и Станислав Жук.

На снимках: Татьяна Лихарева и Лев Михайлов.

Фото А. Бочинина.



На снимках: хата дачника; новое здание техникума.

Фото В. Стрекаля и В. Олейникова.

**В СЕЛЕ ШЕВЧЕНКОВО (б. КИРИЛЛОВКА),** Ольшанского района, Черкасской области, сохранилась хата дачника, в которой обучался грамоте великий украинский поэт Тарас Шевченко.

Сейчас в этом селе закончено строительство нового здания гидромелиоративного техникума, в котором обучается 350 юношей и девушек.



**СПЕКТАКЛИ СОФИЙСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА** ИМЕНИ Св. МАКЕДОНСКОГО пользуются большим успехом у советских зрителей.

Москвичи тепло приняли болгарские оперетты «Молодость маэстро» В. Райчева и «Бунтарская песня» Г. Златева-Чернина, а также «Прекрасную Елену» Ж. Оффенбаха и «Если бы я был королем» А. Адана.

Софийский театр продолжит свои гастроли в Ленинграде.

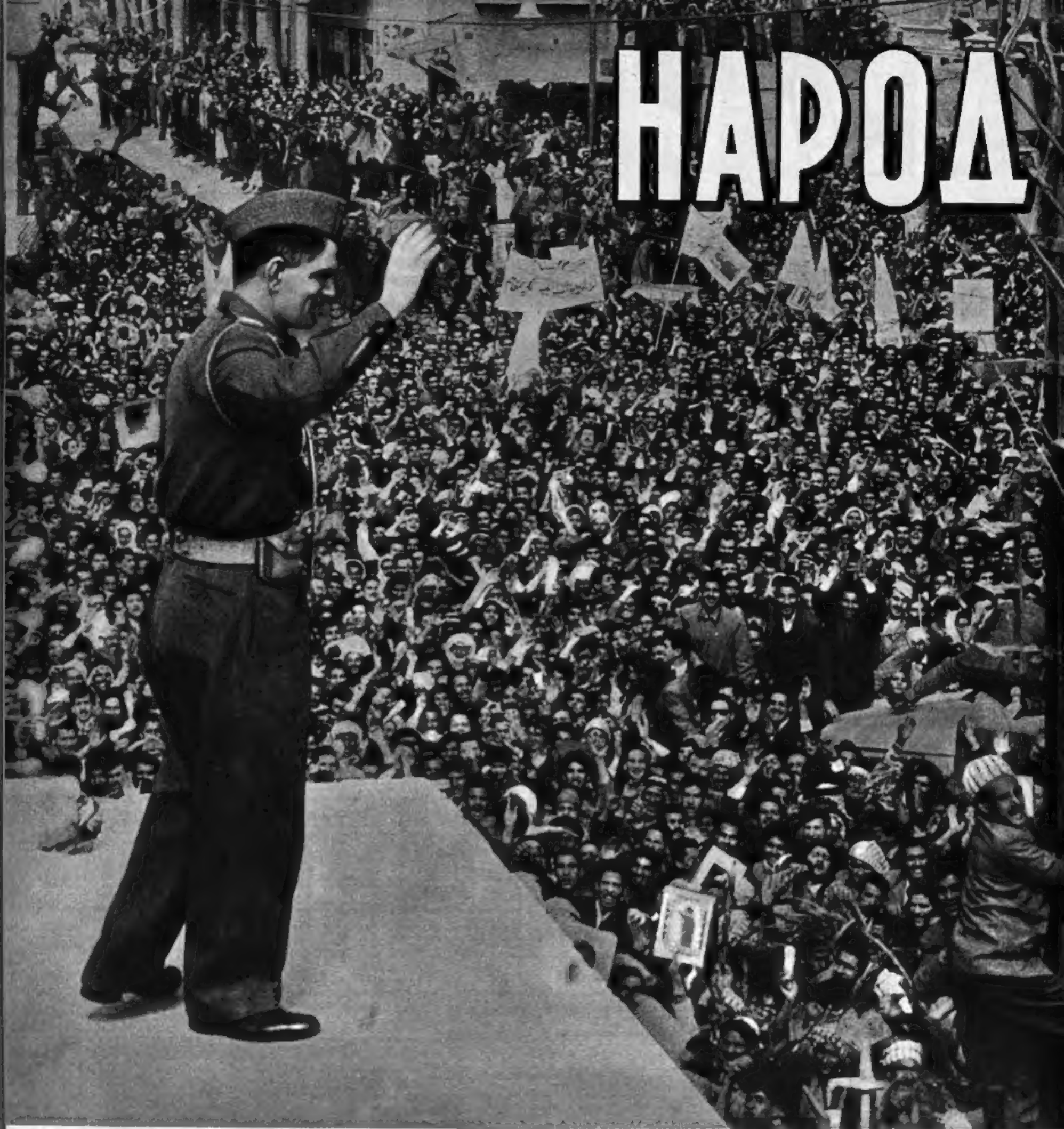
На снимке: сцена из спектакля «Молодость маэстро». Справа налево: Кристина — Л. Кисева, известный болгарский композитор маэстро Георгий Атанасов — Я. Бо-дуров, Камелия — П. Ламбринова.

Фото А. Гладштейна.





# НАРОД



П. ДЕМЧЕНКО

**Т**рещущая весть с быстротой молнии облетела Багдад вечером 8 марта: в Мосуле вспыхнул контрреволюционный мятеж. Багдадское радио передало правительственный декрет о смещении главаря мятежников полковника Шаввафа с поста командира пятой бригады. Одновременно по всей стране было введено чрезвычайное положение.

Абдель Керим Касем выступает перед участниками демонстрации протеста против мосульского заговора с балкона здания министерства обороны 9 марта 1959 года.

В Мосуле восстанавливают порядок. На снимке — солдатский патруль на улицах города.



# СИЛЬНЕЕ заговора

وجوه المتآمرين



Карикатура в одной из иранских газет. Надпись гласит: «Народ сильнее любого заговора».

## ПРОВАЛ МОСУЛЬСКОГО МЯТЕЖА

Мосул. Народный отряд, состоящий из курдов и арабов.



Неспокойной была эта ночь в иракской столице. До рассвета не смыкали глаз патриоты Багдада. Через каждые сто—двадцать метров на улицах расположились рабочие и молодежные посты. Специальные отряды охраняли мосты через Тигр, проверяли багажники автомашин, документы у запоздалых прохожих. Люди знали, что агенты заговорщиков действуют

12 марта в Багдаде тысячи людей собрались, чтобы проводить в последний путь выдающегося иракского патриота Камель эль-Казанчи, расстрелянного предателями.





# ПАТРИОТЫ

# ПОБЕДА!

Неделя Алжира... В эти дни, с 30 марта по 7 апреля, мысли и сердца советских людей будут обращены к алжирскому народу, который ведет мужественную борьбу за независимость своей многострадальной родины, за лучшее будущее. Советский народ с глубоким сочувствием относится к справедливой борьбе алжирских патриотов.

Стремясь удержать в своих руках плодородные земли и несметные сокровища недр Алжира, колонизаторы навязали алжирскому народу войну. Они превращают в развалины и пепел алжирские селения, шлют в Алжир все новые и новые воинские части. Массовые клзны, насильственное переселение жителей целых районов — ни перед чем не останавливаются колонизаторы, чтобы погасить пламя освободительной борьбы.

Но колонизаторам не поставить алжирский народ на колени. В священной войне за свободу патриоты пользуются поддержкой всего народа Алжира. Они знают, что им сочувствует, их поддерживает все прогрессивное человечество. От оазисов Юга и до горных хребтов Кабилии по всему Алжиру гремит единодушный клич: «Борьба до победы, до полного освобождения!»

В. ГОНЧАРОВ



Отряд воинов национально-освободительной армии на марше.

Одно из самых примечательных зданий в городе Алжире — старинный дворец, принадлежавший алжирским правителям — деям. Последний хозяин этого дворца был дей Хуссейн. Однажды, возмущенный наглými притязаниями французского консула Давала, являя спровоцировавшего конфликт, Хуссейн не сдержался и дал ему пощечину. Эта пощечина послужила предлогом для посылки в Алжир французского экспедиционного корпуса. Было это в 1827 году. И вот уже более столетия в старинном дворце хозяйничают французские генерал-губернаторы. Здесь устраивали пышные рауты и обсуждали планы военных операций нынешний лидер реакционной французской партии ЮНР Жак Су-стель, и социалист Робер Ланюст, и один из главнейших военных мятых в Алжире, генерал Сала. Здесь бесновались парашютисты фашистского генерала Массю.

Сейчас в этом дворце можно видеть человека с квадратным лицом, бегающим взглядом и усами фехтовальщика. Этот человек по имени Поль Делуэри, носивший звание «генерального делегата французского правительства в Алжире», не является ни военным, ни политиком. Он «крупный специалист по экономическим и финансовым вопросам», как характеризует его парижская печать.

Недавно Поль Делуэри, «человек Ротшильдов», в прошлом служивший в министерстве финансов, а затем в так называемом «Европей-

ском объединении угля и стали», созвал совещание в старинном дворце деям под циничной вывеской «Высшего совета по осуществлению плана экономического развития Алжира». На нем, кроме военных, без которых в Алжире сейчас не обходится ни одно мероприятие колонизаторов, присутствовали представители высшей французской финансовой олигархии, в том числе и сам глава «Ассоциации французских предпринимателей» Жорж Вилье.

Речь Делуэри приятно взволновала присутствующих. Он говорил о несметных запасах нефти в Хасси Мессауда, о многих миллиардах кубометров природного газа, обнаруженных в Хасси Эль-Мир. Медь, железо, урановая руда лежат в районе Уэнза...

Но совещание закончилось неожиданно. В самый его разгар раздался телефонный звонок. Присутствовавшему во дворце генералу Шалю, новому командующему французской оккупационной армией в Алжире, сообщили об «адской машине», обнаруженной войсками безопасности. Это сообщение, переполненное участниками совещания, напомнило о простой и суровой истине: о том, что в Алжире идет война, о том, что алжирцы ненавидят своих угнетателей, о том, что Поль Делуэри и прочие распускаются тем, что им не принадлежит, что они хозяйничают в чужом доме.

Подлинным хозяевам страны — алжирские патриоты — все решительнее напоминают об этом. Их боевые вылазки все чаще происходят в самом городе Алжира, под носом генерала Шалю. А уже в восьмидесяти километрах от столицы страны начинается фронт, места ожесточенной и кровопролитной войны, в которой все больше уязвляют войска оккупантов.

Временное правительство Алжирской Республики неоднократно предлагало Франции начать переговоры, которые положили бы конец затяжной и кровопролитной войне. Французское правительство не идет на такие переговоры, требует капитуляции алжирских патриотов.

Но патриоты не намерены сдаваться. В настоящее время национально-освободительная армия Алжира контролирует около половины всей территории страны. Что же касается населения Алжира, то, за исключением кучки предателей, весь народ выступает против колонизаторов. И в конечном счете народ, и никто другой, решит исход схватки между силами свободы и силами колониального порабощения.



Для устрашения населения французские власти заставляют алжирцев возить по улицам трупы патриотов, зверски убитых полицией.

и здесь, в Багдаде, что только бдительность народа может сорвать их черные замыслы.

Девятого утром улицы столицы заполнили десятки тысяч негодующих демонстрантов, а в полдень стало известно, что мятеж провалился и Шавваф убит солдатами его же бригады. Народ ликовал.

В прессе западных стран немало писалось о подготовке заговора на севере Ирака. Было известно, что на сессии совета Багдадского пакта в Карачи разрабатывался план отторжения от Иракской Республики Курдистана и всей северной части страны, богатой нефтью, и свержения правительства Абдель Керим Касема. Иностранная агентура установила связь с местными феодалами, с деятелями старого режима, реакционными офицерами. Из-за границы началась переброска оружия, денег для реакционных групп.

Чтобы помочь патристическим силам сорвать планы реакционеров, Национальный совет сторонников мира Ирака решил провести 6 марта в Мосуле День борьбы за мир. Это была грандиозная манифестация, в которой участвовало около двухсот тысяч человек. На грузовиках и автобусах прибыли представители курдских городов: Сулеймании, Эрбиля, Киркука. В трех поездах разместились двухтысячная делегация Багдада. Заговорщики наметили выступление на пятницу, 6 марта, но де-

монстрация сторонников мира спутала им карты.

На рассвете с запада к Мосулу подошло бедуинское племя шаммаров. Это послужило сигналом для заговорщиков. Мелкие группы фашистских молодчиков, состоявшие в основном из сынков и телохранителей феодалов, а также приверженцев правосоциалистической партии БААС, стали нападать на дома прогрессивных деятелей, избивать их и уводить в здание Политического управления. Между тем ворвавшиеся в город бедуины грабили кафе и магазины.

Начавшая свои передачи из соседней страны самозванная радиостанция «Голос Мосула» не смогла сбить иракцев с толку. Горожане вместе с правительственными войсками дали отпор погромщикам и осадили городскую тюрьму. Особенное мужество проявили рабочие и студенты. Тюрьма была освобождена, но предатели иракского народа успели совершить кровавое злодеяние: расстрелять нескольких патриотов, среди которых был выдающийся иракский общественный деятель и борец за мир Камель зль-Казанчи.

В Мосуле, в поверженном штабе Шаввафа, сопровождавший меня офицер обратил внимание на хранившуюся здесь литературу. «Кто является колонизатором» — гласило заглавие одной брошюры. Авторы ее тужились

доказать, что единственный колонизатор на земле — это... Советский Союз. Фальшивка была издана в Нью-Йорке. Шавваф был верным слугой нефтяных королей и реакционеров. И хозяева заранее снабдили его не только литературой, но и деньгами и оружием. В штабе Народного ополчения мне показали переброшенные через границу винтовки, минометы и боеприпасы...

Из Мосула я уезжал повозом. На привокзальной площади четко вырисовывались в лучах заходящего солнца фигуры патруля: вооруженных винтовками солдат и двух ополченцев — араба и курда. Они стояли на страже безопасности своего города, как символ единства иракского народа, как символ его бдительности.

На Востоке говорят, что измена друга во сто крат больнее удара врага. Иракцам пришлось в эти дни испытать горечь измены. Некоторые руководители и органы печати соседних государств лили воду на мельницу империалистов. Но иракский народ не поверил лживым голосам. Мятеж, который многие месяцы тщательно готовился империалистами и арабскими реакционерами, потерпел крах. Иракцы еще теснее сплотились вокруг своего правительства.

Багдад.





**НОВЫЕ МОДЕЛИ** показало на днях в Доме культуры имени Чкалова ателье № 51 легкого женского платья Мосиндодожды. Заказчицы осматривали платья на манекенщицах и здесь же приобретали многие вещи. В этом году художники и закройщицы ателье № 51 уже трижды выезжали в рабочие клубы с показом новых моделей. На снимке: в фойе Дома культуры имени Чкалова. Фото Р. Лихач.

**ПОД ФЛАГАМИ МНОГИХ СТРАН** приходит суда в Херсонский порт. На снимке: индийское судно из Бомбея, доставившее чай, кофе и джут, заканчивает выгрузку. Фото Ю. Лихуты (ТАСС).

**В ГОРЫ КАВКАЗА, ТЯНЬ-ШАНЯ, АЛТАЯ, САЯН, ПОЛЯРНОГО УРАЛА** в марте устремляются многие туристы-горнолыжники. Когда светит теплое, яркое солнце и склоны покрываются крепким настом, а по берегам бурлящих рек зацветает верба, люди с загорелыми лицами прокладывают новые и новые маршруты. Недавно московские туристы художники В. Жутовский и Л. Гольдберг и математики Л. Скорняков и И. Шефаревич совершили интересный поход через перевалы Западного Кавказа. На снимке: туристы на привале. Фото В. Жутовского.



**НА СЕМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ** недавно перешел цех сборки кинескопов Львовского электролампового завода, на котором развернулось соревнование за звание бригады коммунистического труда. К концу семилетки это предприятие станет одним из крупнейших в Европе. Фото Р. Константиновой



**ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПЛОЩАДЬ ПУШКИНА** к концу 1960 года. Здесь строятся новый кинотеатр с двумя зрительными залами. В малом зале предполагается демонстрировать хроникальные кинофильмы, в большом — широкоэкранном — художественные фильмы со стереофоническим воспроизведением звука. Новый театр будет оборудован новейшей отечественной киноаппаратурой. Вход в кинотеатр намечается прямо со сквера за памятником А. С. Пушкину по лестнице над проезжей частью улицы. Проект нового кинотеатра разработан в мастерской Мосгорпроекта под руководством архитектора Ю. И. Швердлева.

В глубокой скорби провожали москвичи в последний путь выдающуюся русскую актрису, жену Антона Павловича Чехова — Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову.

Ученица В. И. Немировича-Данченко, партнерша К. С. Станиславского, В. И. Качалова, Н. М. Москвина, Книппер-Чехова создала на сцене МХАТа галерею замечательных сценических образов, которые послужили украшением истории русского театра.

Маша в «Трех сестрах», Раневская в «Вишневом саду», Елена Андреевна в «Дяде Ване», Настя в «На дне», Полина во «Врагах», Ирина в «Царе Федоре Иоанновиче» — да разве можно перечислить образы замечательных героинь, созданные Книппер-Чеховой за шестьдесят лет ее благородного и высокого служения искусству!

С ее именем связаны первые театральные успехи Чехова, Горького, и впоследствии все постановки пьес этих великих драматургов на сцене МХАТа всегда проходили при участии Ольги Леонардовны.

Лучший друг и советчик театральной молодежи, прекрасный, чуткий художник, большой, красивый человек — такой навсегда останется Ольга Леонардовна Книппер-Чехова в памяти народа.





И. Е. Репин. НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ. 1878.

# БЕССМЕРТНЫЙ

# Гоголь

Ольга ФОРШ

Вся наша страна вспоминает, что ровно сто пятьдесят лет тому назад, в 1809 году, 20 марта (по старому стилю), родился один из величайших наших писателей — Николай Васильевич Гоголь.

Недаром Белинский провозгласил, не колеблясь, что Гоголь — великий талант и собой открывает эпоху...

Белинский не ошибся. Гоголь нам становится все ближе, и все с новых сторон раскрывается его творчество перед нами. Прорастает оно и в будущее русской литературы.

Современниками Гоголя были знаменитые в то время Марлинский, Нарезный, Кухольник. Кроме искусствоведов, их имена сейчас редко кто и вспомнит.

А какой был гром, почет и успех, особенно у Кухольника! Про Гоголя же тогда только Белинский один и писал, что он гениален.

Теперь оказалось, что Гоголь нам все более нужен.

Ежегодно я перечитываю и «Мертвые души» и «Шинель» и всякий раз нахожу в них новые сокровища.

В чем же дело? Быть может, замысловатость сюжета? Но нет, сюжет у Гоголя прост, его передать можно всегда в двух словах.

В двух словах, например, можно рассказать о том, как поссорились навсегда два мелкопоместных дворянина из-за того, что один другого назвал «гусаком». Но Гоголь втянул в эту ссору весь город, а за городом, гляди, и вся, как есть, Россия объята в своих буднях этой мелочью, этой ерундой.

И уже становится страшно, уже нечем дышать. Вместо воздуха всякая дрянь, и уже слышится авторское: «Скучно на этом свете, господа!».

Гоголь, за что у него ни возьмись, обязательно втянет тебя в текст, захватит чувства и воображение, заставит трепетать от дерзости своих гипербол и насладит душу бессмертной, не ослабляемой никакими юбилеями и датами музыкальной гоголевской речью.

«Песня сочиняется не с пером в руке, не на бумаге, не с строгим расчетом, но в вихре, в забвении, когда душа звучит и все члены, разрушая равнодушие, обыкновенное положение, становятся свободнее, руки вольно вскидываются на воздух и дикие волны веселья уносят... от всего».

Так писал Гоголь о создании украинских песен. И дальше — о самом существе поэзии песни: «Рифмы звучат и сшибаются одна с другою, как серебряные подковы танцующих»; и о музыке песни: «Душа... и все существование раздвигается, расширяется до беспредельности».

...Детские годы Гоголь провел в маленьком родовом имении, в Васильевке, Полтавской губернии, недалеко от Сорочинца. Отец его, Василий Афанасьевич, был небогатым помещиком, страстным поклонником искусства. Любил театр, писал стихи и комедии и с успехом играл на сцене домашнего театра своего дальнего родственника сановника Трошинского. Мать, Марья Ивановна, очень одаренная женщина, прекрасная рассказчица, обладавшая большой фантазией, первая заложила в душу сына влечение к художественному вымыслу. Она была всего на шестнадцать лет старше сына и как товарищ волекала во все его затем. Дом Трошинского с богатой библиотекой разивал у Гоголя вкус к театру. Так с детства в нем были заложены основы будущего призвания.

После домашнего учителя-семинариста Гоголь прошел Полтавское уездное училище, откуда через два года поступил в «Нежинскую гимназию высших наук». Вначале товарищи приняли его недружелюбно. Болезненного, золотушного, малопонятного мальчика одни сторонились, другие высмеивали. Но он скоро всех покорила своими талантами. Остроумно писал рассказы и стихи в гимназических журналах «Звезда» и «Метеор литературы». После того, как Гоголь блестяще сыграл госпожу Простакову в «Недоросле», товарищи прочили ему театральное будущее.

Нежинская гимназия была прогрессивным заведением. Восстание декабристов и совсем рядом протекавшие события в Черниговском полку не могли пройти бесследно. Среди преподавателей и гимназистов образовались два лагеря: прогрессивный и реакционный. Инспектор гимназии Белоусов, которого Гоголь очень почитал, был изгнан властями. После его удаления Гоголь записал: «У нас в Нежине так скучно стало, что не знаешь, куда деться», — а о времени, когда слушал лекции Белоусова по праву, Гоголь говорил: «было над чем трудиться».

Влияние Белоусова на Гоголя было глубоко, что видно из одного письма Гоголя в конце 1827 года: «Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном. На юстиции... Неправосудие, величайшее в свете несчастье, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сделав блага... Исполнятся ли высокие мои начертания?»

Решив отдать все свои силы служению родине, мечтая о деятельности государственной, Гоголь по окончании гимназии едет в Петербург. Здесь мечталось ему осуществить все свои благородные помыслы.

Но Петербург надежд юноши не оправдал. Тщетными оказались все попытки не только служить, но и поступить актером на сцену. Неудача ожидала и его первую попытку в стихах — «Ганц Кухельгартен». Гоголь в состоянии полного упадка духа в 1829 году бажит за





Л. С. Бакст (1866—1924). Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя «Нос».

границу, в Любек, «разгулять свою тоску», на деньги, предназначенные для уплаты процентов по заложенному имению матери. Невозможность «укрыться от себя» и жить вне России очень скоро гонит его обратно в Петербург.

Только в ноябре 1829 года Гоголь обретает наконец место мелкого чиновника, но радости от службы не получает. Слишком далека оказалась действительность от служения какому-то идеальному государству, созданному его воображением. Кроме того, властно влечет его к себе литература, и он начинает вновь писать, но уже не стихами, а прозой. Повесть «Бисбарюк, или Вечер накануне Ивана Купала» увидела свет в «Отечественных записках» в 1830 году. Первый успех окрылил Гоголя. Он работает над книгой «Вечера на хуторе близ Диканьки», первая часть которой вышла в сентябре 1831 года.

Гоголь сближается с Жуковским, Дельвигом, Платиновым. Встреча с Пушкиным явилась для него великим событием. Гоголь поверил в себя — писателя. Пушкин написал про Гоголя: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился... Поздравляю публику с истинно веселою книгою, а автору сердечно желаю дальнейших успехов».

Оценка Пушкина утвердила Гоголя в том, что он наконец нашел путь служения родине. Пушкин стал для Гоголя старшим товарищем, руководителем, путеводной звездой, в которую он верил безгранично. Это Пушкин подскажет ему впоследствии сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ».

В 1832 году Гоголь издает вторую часть «Вечеров». Поездка в том же году на родину в Васильевку вдохновляет его на новую работу. Напечатанные в 1835 году «Арабески» и «Мир-

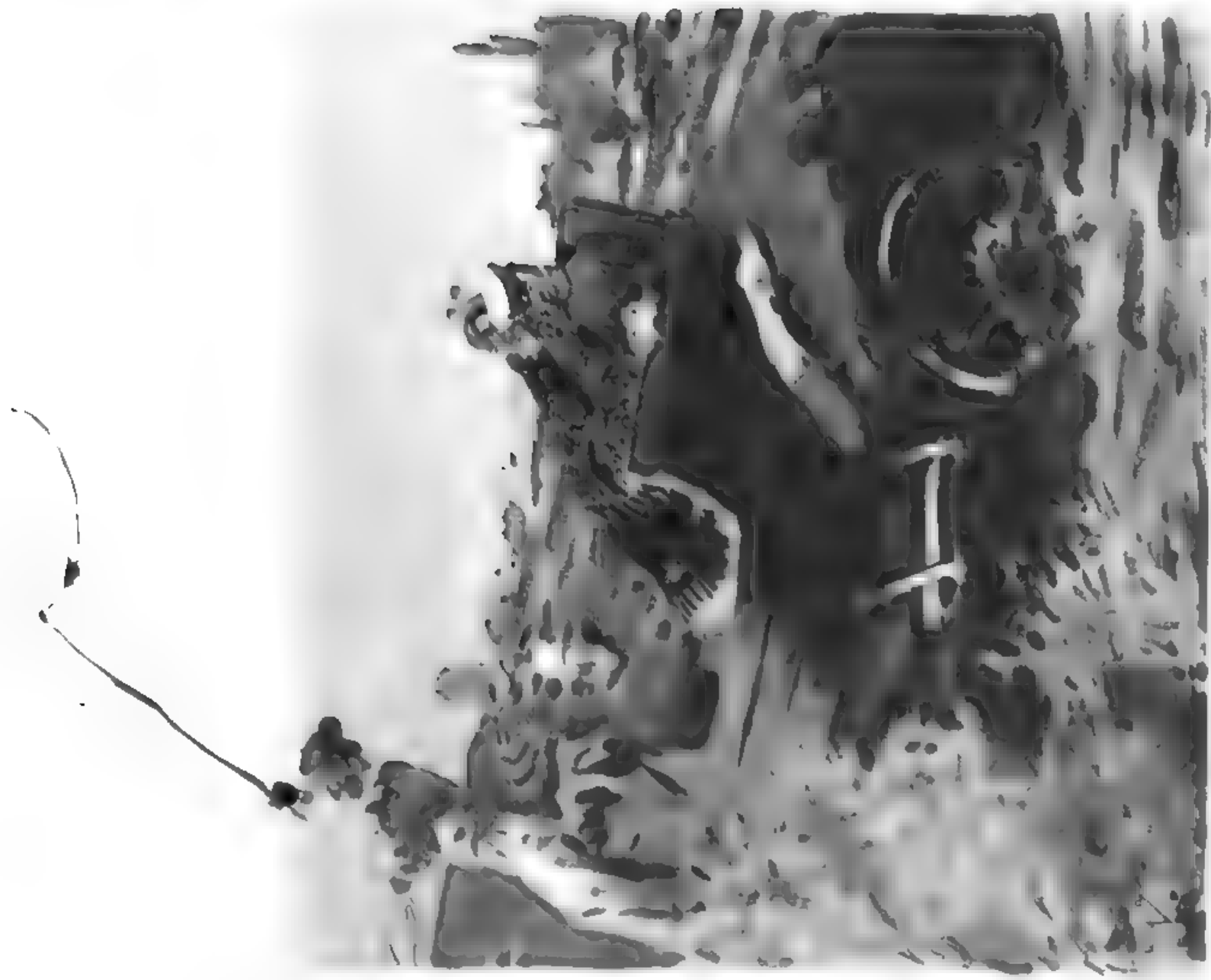
город», по свидетельству Белинского, были «самым необыкновенным явлением в нашей литературе».

В 1836 году была закончена и поставлена на сцене комедия «Ревизор».

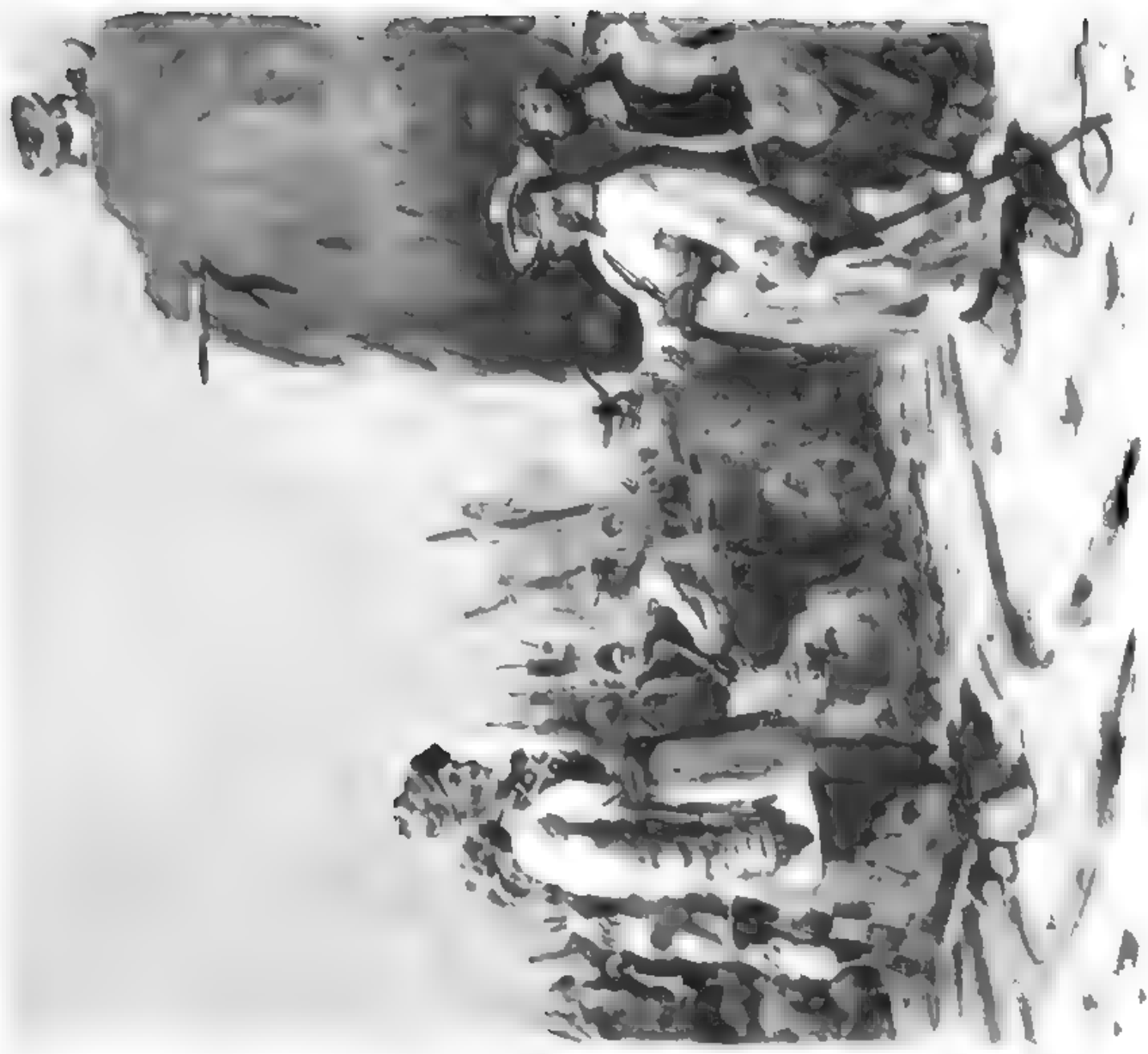
Гоголь был потрясен, увидав силу воздействия своего творческого слова на современников. Нагаданно он оказался в центре страстей. Друзья превозносили его до небес. Но вдруг обнаружились и злейшие враги, которые за обнажения и разоблачения всеобщей продажности и произвола николаевской России объявили его чуть ли не изменником родины. Его необыкновенная чувствительность и нежная душа не могли вынести всего, что обрушилось на его голову, и он опять бежал за границу в июле 1836 года.

В Риме Гоголь встретился со знаменитым нашим художником Александром Ивановым, который двадцать с лишним лет работал над созданием своей картины «Явление Мессии народу».

Родственность судьбы и характера обоих добровольных изгнанников России определя-



«ИВАН ФЕДОРОВИЧ ШПОНЬКА И ЕГО ТЕТУШКА»



«СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»



лась самоотверженным служением русскому народу.

Здесь же, в Риме, писал Гоголь о гибели Пушкина:

«Все наслаждения моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с ним, — восклицал Гоголь. — Нынешний труд мой («Мертвые души» — О. Ф.), вынужденный им, его создание... я не в силах продолжать его. Несколько раз принимался я за перо — и перо падало из рук моих. Невыразимая тоска!»

Все же в мае 1842 года вышел из печати первый том «Мертвых душ». Книга была высоко оценена Белинским, Герценом и другими передовыми людьми. Но официальная реакционная печать ожесточенно бранила поэму и ее автора. В поэме, как и в «Ревизоре», снова было усмотрено «унижение русских людей». Гоголь с горечью вспоминает:

«...Когда я начал читать Пушкину первые главы из «Мертвых душ»... то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец, сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: «Боже, как грустна наша Россия!» Тут-то я увидел, — добавляет Гоголь, — в каком ужасающем для человека виде может быть ему представлена тьма и путающее отсутствие света».

В другом месте Гоголь пишет про «Мертвые души»: «Пошлость всего вместе испугала читателей. Испугало их то, что один за другим следуют у меня герои один пошлее другого, что нет ни одного утешительного явления, что нагде даже и приотдохнуть или дух перевести бедному читателю, и что, по прочтении всей книги, кажется, как бы точно вышел из какого-то душного погреба на божий свет».

Гоголя, с детства религиозного, потрясла мысль, что он явился невольным проводником зла, и он торопится во втором томе «Мертвых душ» создать положительные типы вроде Костанжого и других, что ему совершенно не удается. Гоголь попал в роковое для его дарования окружение светских людей, увлеченных его сатирой и равнодушных к его таланту. Гоголь, доведенный ими до жажды публичного покаяния и проповедничества наставительной добродетели, опубликовал книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Этой книгой Гоголь как бы зачеркивает самого себя как великого обличителя современной ему русской действительности. Эта книга вызвала горечь и осуждение даже его самых близких друзей.

Белинский, который первым признал гениальность Гоголя, который писал, что Гоголь — «поэт жизни действительной, обладающий талантом необыкновенным, сильным и высоким, что Гоголь становится на место, оставленное Пушкиным, ужаснулся «Переписки» и пережил ее как великое горе. Он сказал про Гоголя: потерял человек для искусства.

Гоголь ничего не понял и увидел в пламенной, уничтожающей статье Белинского его личное озлобление. В письме к Белинскому Гоголь пишет, что тот взглянул на книгу глазами «рассерженного человека»...

Великий критик написал Гоголю то потрясающее, известное письмо, за одно прочтение которого в кружке петрашевцев молодой Достоевский был сослан на каторгу. «Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, крокодил, связанный с своею страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса».

Белинский хотел вернуть великого писателя своему народу: «Если вы имели несчастье с гордым смиренником отречься от ваших истинно великих произведений, то теперь вам должно с искренним смирением отречься от последней вашей книги и тяжкий грех ее издания в свет искупить новыми творениями, которые напомнили бы вашим прежние».

Гоголь был не в состоянии до конца ни последовать совету Белинского, ни совершенно отвергнуть его. Роковая двойственность подтачивала его силы. В 1847 году Гоголь пишет «Авторскую исповедь» и затем снова берется за второй том «Мертвых душ». В 1848 году Гоголь возвращается в Россию и на горячо любимой родине не находит в себе сил сосредоточиться и завершить свои замыслы. Послед-

ним ударом для его и без того растерзанного сознания было сожжение им нового варианта второго тома «Мертвых душ».

После этого события через девять дней, утром 21 февраля 1852 года, Гоголь умер.

Наследие Гоголя велико и многообразно. У Гоголя, великого реалиста, нет бесспорной, чудосочной, абстрактной фантастики. Юмор его полихромный и запоминается навеки, потому что не теряет образа.

У него кузнец Вакула, сидя на черте, «пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немног, то зацепил бы его шапкою... Все было видно; и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов... как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила, куда нужно, ведьма... много еще дряни встречали они».

Просматривая письма Гоголя, мы видим, как он заботился о точности образа. Так, будучи в Петербурге, Гоголь просил свою мать, чтобы та ему написала подробно об обычаях и нра-

вах украинцев. Ему для работы были нужны и «описание полного наряда сельского дьячка, от верхнего платья до самых сапогов», платье девушки «до последней ленты», «обстоятельное описание свадьбы, не упуская наималейших подробностей»...

От общения с Гоголем углубляется зрение, ширится слух, в восторге поднимаются чувства. Гоголь одаряет каждого, кто сумеет его прочесть. Но читать его по-настоящему, не только сюжетно, а проникаясь ритмом его речи, обогащаясь сверкающими его красками, нелегко. Читать Гоголя надо научиться.

Встречаясь с Гоголем, я всегда чувствую благодарность за то обогащение, которое от него получаю. Вспоминается образ шестикрылого серафима из пушкинского «Пророка». Он кажется поочередно уст, глаз, ушей — и мир видимого, слышимого и ощущаемого расширяется безмерно. «И угль, пылающий огнем» возгорается в сердце, и «жалю мудрия змеи» вместо слабого языка способно выразить доселе казавшееся несказуемым. Однако не всегда и не всех Гоголь может так обогатить, а лишь того, кто не читает книгу его равнодушно.

## ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО

Участник революционного движения сороковых годов прошлого века, идейный соратник Чернышевского, Добролюбова, Некрасова, поэт-петрашвец А. Н. Плещеев известен как талантливый литературный критик. Его статьи и письма свидетельствуют о том, что уже в самом начале творческого пути Плещеев стал горячим почитателем Гоголя и поборником направления, данного им русской литературе. Подобное отношение к творчеству Гоголя, характерное не только для самого поэта, но и для передовых современников его, товарищей по кружку Петрашевского, было встречено враждебно реакционной прессой, и прежде всего Булгариным, который писал, что в статьях «Петербургской хроники» «все одно и то же — похвала Гоголю».

Авторство Плещеева относительно анонимных статей «Петербургской хроники», напечатанных в газете «Русский инвалид» в 1846—1847 годах, подтверждается указанием самого поэта в его неопубликованном письме к В. Ф. Одоевскому от 16 января 1848 года. Принадлежность Плещееву «Петербургской хроники» устанавливается также тем, что большая часть некролога о В. Н. Майкове, опубликованная в фельетоне «Петербургской хроники» за 1847 год, включена во вступительную статью к «Критическим опытам» Валерия Майкова с указанием на Плещеева. Мы публикуем выдержки из «Петербургской хроники» и литературных заметок А. Н. Плещеева в газете «Московские ведомости».

Л. ПУСТЫЛЬНИК

«...Из всех созданий Гоголя величайшее есть «Мертвые души». Нигде русская жизнь не раскинулась так широко, здесь обнята она со всех сторон, и страшно ошибается тот, кто в этих лицах видит только провинциалов, в этом губерньском городе — только губерньский город. Эти провинциалы всюду, это наши знакомые, наши друзья, наши родственники, мы сами, нам стоит только поглубже заглянуть в

себя, чтоб найти многие признаки почтенных людей, избранных поэтом. Не всякий сознается в этом и самому себе, не только другим, но, может быть, многим, узнав себя в этих лицах, делают противниками таланта Гоголя.

Да, признаемся, встречая порицателей автора «Мертвых душ», мы часто радуемся в душе, потому что это служит для нас новым свидетельством его

могущества, кажется новым торжеством гения.

«...Давно ли число порицателей Гоголя далеко превосходило число его поклонников? Давно ли сыпались на него тысячи обвинений, одни мелее других, которые он уничтожил в своем дивном произведении «Разъезд после представления новой комедии», и теперь только изредка слышится какой-нибудь охриплый голос, восстающий против направления, данного Гоголем русской литературе, и этот охриплый голос тотчас же заглушается энергичными протестами молодого поколения, обратившего на гениального юмориста полные ожидания очи; как он сам же говорит в «Мертвых душах»: «Такова сила гения, такова влечение века; кто в состоянии противиться ему? Даже самые старики не осмеливаются больше спорить о таланте Гоголя, а довольствуются рассуждениями о степени вреда или пользы, приносимых подобным рода сочинениями».

«...Литература наша вышла после Гоголя и Белинского на истинный путь, изображает нам действительный мир и стремится к простоте и естественности, отбросив все ложные эффекты, все блести и погрешности, которыми когда-то забавляли публику... Она служит для большинства проводником лучших идей, выработанных наукой и жизнью»...

## «ШИНЕЛЬ» НА ЭКРАНЕ

Акакий Акакиевич стоит в ночном иране и в ужасе озирается по сторонам. «Нет, лучше и не глядеть», — думает он, возвращаясь домой с вечеринки, где сослуживцы «обмывали» его новую шинель. Он идет, петляя по заснеженной безлюдной площади, закрыв глаза, а когда открывает их, медленно поднимает голову, то видит перед ним выросли зловавшие фигуры бродяг. Акакий Акакиевич сторонится и попадает в глубокий сугроб. Пропойца, прищурившись, нагло манит его пальцем.

— А ведь шинель-то моя!

— Нет! Нет! — в страхе лепечет растерявшийся Акакий Акакиевич.

Грабители грубо хватают чиновника за воротник новенькой шинели.

— Пиротехник! Снегу! Снегу! — кричит режиссер.

Мы узнаем в нем известного молодого киноактера Алексея Баталова. В «Шинели» он дебютирует как режиссер-постановщик.

— Вот обидно! Даже петербургской погоды, и той нет! — досадливо прибавляет он.

Сцену ограбления Акакия Акакиевича (его играет артист Московского ТЮЗа Р. Быков) коллентив студии «Ленфильм» снимал в одном из старых уголков Васильевского острова.

— Нам хотелось создать картину, — говорит А. Б. Баталов, — передающую на экране повесть Гоголя, — рассказ о судьбе маленького человека, который, на мгновение оторвавшись от своего жалкого места в жизни, был раздавлен окружающей его средой...

К. ЧЕРЕВКОВ

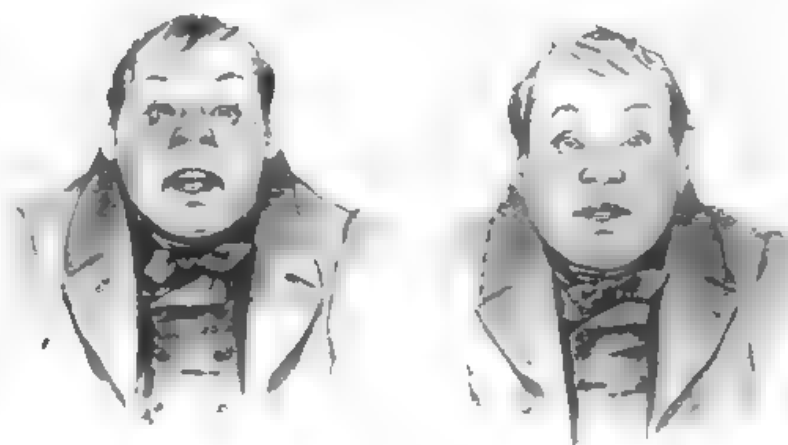
На съемках фильма «Шинель». В центре — артист Московского ТЮЗа Р. Быков.

Фото В. Утчина.



# Рисовальщик из

Ник. Смирнов-Сокольский



Петр Иванович Бобчинский и Петр Иванович Добчинский

В 1858 году в Москве, в издании литографии Бахмана, вышел в свет альбом рисунков к «Ревизору» художника Петра Боклевского. Технически альбом был издан весьма средне. «Рисовавший на камне» В. Пугачовский да и сама техника печати того времени не передали и доли блеска «волшебного карандаша» автора рисунков Петра Боклевского.

«Наследил!» — жаловался художник, который наряду с А. Агониным, творцом непревзойденных иллюстраций к гоголевским «Мертвым душам», вошел в историю как создатель зрительных образов героев «Ревизора».

Оба художника посвятили свое творчество служению литературе и, по существу, первыми сделали попытку вывести иллюстрацию из ее служебного положения в разряд самостоятельного искусства. Их работы помогали читателям глубже понять сущность созданных Гоголем образов.

Достаточно сказать, что вся сценическая история постановки «Ревизора» с появлением работ Боклевского прошла под несомненным его влиянием. Практиковались даже отдельные постановки специально «по рисункам Боклевского».

Разумеется, чтобы видеть «глазами Гоголя» созданных им героев, надо было изучить его творения, знать каждое движение мысли писателя. Петр Боклевский не только воплощает на бумаге образы «Ревизора». Современники рассказывают, что художник так мастерски

читал бессмертную комедию, что никакой спектакль в изображении самых знаменитых актеров не давал такого яркого впечатления.

Несмотря на то, что художественное наследие Петра Боклевского довольно значительно (он делал иллюстрации к «Мертвым душам», «Менитьбе», «Старосветским помещикам» и другим произведениям Гоголя, иллюстрировал А. Н. Островского, И. С. Тургенева, А. Мельникова-Печерского), работа над образами «Ревизора» была делом жизни художника.

Даже технически несовершенно издание альбома 1858 года — «Галерея гоголевских типов, нарисованных Боклевским. Выпуск первый. «Ревизор». 14 листов» — имело громадный успех и выдержало несколько переизданий.

В 1863 году выходит новое издание Боклевского и «Ревизору» — альбом под названием «Бюрократический катехизис». Художник не ограничился на этот раз изображением одних только персонажей комедии, а дал пять отдельных сцен, наиболее характерных, заострив их сатирический смысл, их социальную сущность.

Отдельные сцены из «Ревизора» он озаглавливает: «Философия бюрократов», «Религия бюрократов», «Политика бюрократов», «Познания бюрократов» и «Общественные отношения бюрократов».

Время выхода альбома совпало с движением шестидесятых годов и нам нельзя более соответствовало настроением общественного протеста.



Философия бюрократов.

## Через десятилетия...

Из театральных фотоархивов

Ю. Ходжаев

Последняя сцена «Ревизора» в постановке Народного театра в Москве, 1872

В мае 1836 года «Ревизор» был поставлен в Москве, на сцене Малого театра. Гоголь шуточно предлагал М. С. Щепкину десять ролей: «...какую хочет, пусть таню берет, даже может разом все играть». Щепкин выбрал роль Городничего.

На «Ревизоре» воспитывались целые поколения русских актеров.

В 1872 году «Ревизор» был сыгран в Москве, на Политехнической выставке, в Народном театре, организованном передовыми представителями интеллигенции для рабочих. «Народная публика сразу почувствовала, что ее понимают... что в этом наскоро сколоченном общими усилиями тесовом балагане живет неподдельное к ней уважение...» — вспоминал А. Ф. Федотов, режиссер и основатель Народного театра. Отдельные сцены из спектакля были впервые зафиксированы фотоаппаратом. Особый успех завоевал Н. Х. Рыбаков, игравший Землянику. Не удивительно, что министерство внутренних дел распорядилось запретить спектакль, мотивируя тем, что «Ревизор» производит «слишком сильное впечатление на публику, и притом не то, какое желательное правительству».

Значительны и интересны были спектакли Малого театра 80-х годов, в которых особенно выделялись В. А. Маншнев — Городничий, Н. А. Никулина, с искрометным темпераментом создавшая образ «провинциальной кокетки» Анны Андреевны, и М. П. Садовский — один из замечательных исполнителей Хлестакова в Малом. Тогда же и «Ревизору» вернулся и Александринский театр, поставивший его заново трижды: в 1886, 1897 и 1908 годах. Блестящие мастера театра — К. А. Варламов, В. Н. Давыдов, М. Г. Савина — создавали яркие образы, но «Ревизор» в спектаклях Александринского театра утратил свою разницу, обличительную силу, трактовался как «историческая» пьеса.

Инсценировка произведения Гоголя началась еще при жизни писателя. Были инсценированы «Ночь перед Рождеством», «Сорочинская ярмарка», «Тарас Бульба». Но особой популярностью пользуются, конечно, «Мертвые души», которые идут на сцене с 1842 года.

«Театр — великая школа, глубоко его назначение. Он целой толпой, целой тысячей народа за одним разом читает живой полезный урок», — говорил Гоголь. Десятки лет целые поколения молодежи учатся в «великой школе» — театре Гоголя, — учатся некаивать пошлость, лицемерие, невежество, учатся горячо любить родину, преклоняться перед ее славным прошлым, трудиться для ее великого будущего.

О. О. Садовская — Фекла и В. А. Маншнев — Подколесин. «Менитьба». Малый театр 1893. Из фондов Центрального театрального музея СССР имени А. А. Вахрушина



В. Н. Давыдов — Городничий. Александринский театр. 1908.

Л. В. Собинов (слева) — Левко. «Майская ночь». Большой театр. 1909. Н. К. Черкасов — Осип. Государственный академический театр драмы имени Пушкина. Ленинград. 1952.





# города Рязани



Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга.

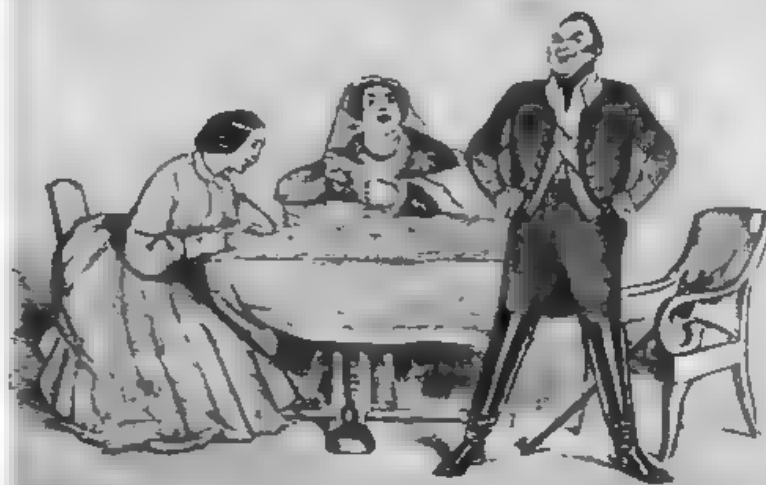
сцене сначала М. Чехов, а следом за ним Игорь Ильинский. Как не похож этот Хлестаков Боклевского на Хлестакова Дюра, о котором Гоголь писал, что он «ни на волос не походил, что такое Хлестаков»!

Образ этого героя «Ревизора», как «лица фантазмагорического», впервые можно усмотреть в рисунках Петра Боклевского.

Великолепным русским рисовальщиком, утонченным и острым, был художник из города Рязани Петр Михайлович Боклевский!

Перед нами последняя работа его над образами «Ревизора».

Нет, недаром карандаш Петра Боклевского называли «волшебным»!



Поэзия бюрократов.



Осип, слуга Хлестакова.



Антон Антонович, Сивозник-Дмухановский, городничий.



Анна Андреевна, городничиха.

ста. Тираж альбома разошелся мгновенно, и ныне первое его издание представляет собой большую библиографическую редкость.

Когда через год Боклевский задумал переиздать альбом, царская цензура, с опозданием догадываясь о том, что под видом «бюрократов» художник наносит удар по всему полицейскому строю империи, запретила переиздание альбома в прежнем виде, выбросила всю «философию бюрократизма», и альбом вышел под скромным заглавием: «Сцены из Ревизора».

Над образами «Ревизора» Боклевский работает почти до конца жизни, все глубже и глубже проникая в сущность созданных Гоголем типов.

Художник не боится нарушить ставшие уже каноническими и не созданные портреты городничего, Хлестакова, Осипа и других. В более поздних своих работах Боклевский по-новому трактует их образы, создавая галерею, значительно более близкую к замыслам автора комедии.

Художник вовсе уходит от облика героев «Ревизора», нарисованных им в 1858 году: дошедшие до нас, но, к сожалению, до сих пор не изданные позднейшие «Типы «Ревизора» совсем не похожи на прежние, и талант художника проявился в них в наиболее зрелой форме.

Таких позднейших, неизданных тетрадей Петра Боклевского и «Ревизору» известно две.

Одна из них находится в Государственном центральном театральном музее имени А. А. Бахрушина в Москве, другая воспроизводится сейчас на страницах «Огонька» из собрания пишущего эти строки.

«Бахрушинская тетрадь» состоит из двенадцати рисунков — портретов героев комедии — и датирована 1877 годом. Публикуемые здесь портреты (их также двенадцать), по всей вероятности, относятся к девяностым годам прошлого века. Это окончательный вариант образов «Ревизора», сделанных художником незадолго перед смертью (он умер в 1897 году). Тетрадь была передана издательству А. Ф. Маркса, но по каким-то причинам оказалась неизданной, и оригинал ее был в 1933 году приобретен мною у одного из наследников издателя.

Несколько рисунков я уже пробовал опубликовать (журнал «Театр и драматургия», 1934 год, «Литературное наследство», 1952 год), но полностью эти замечательные рисунки появляются в «Огоньке» впервые.

С поразительным мастерством карандаш Петра Боклевского сделал эти рисунки. Рассматривая их, начинаешь понимать, почему искусство этого рисовальщика из города Рязани (Боклевский родился в Рязани в 1816 году) современники сравнивали с мастерством Марла Брюллова и Гаварни.

Присмотритесь хотя бы к образу Хлестакова. Ведь это же тот Хлестаков, которого изображали на



Марья Антоновна, дочь городничего.



Держиморда, квартальный



Иван Кузьмич Шнепки, почтмейстер.



Амос Федорович Ляпкин Тяпкин, судья.



Артеми́й Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.



Луна Лунич Хлопов, смотритель училищ.

# ЛУЧШАЯ АКТЕРСКАЯ ШКОЛА

И. В. ИЛЬНИНСКИЙ,  
народный артист СССР

Обычно в каждой актерской биографии есть событие, которое становится этапом в формировании мастерства данного артиста, определенным рубежом в его творчестве.

Для моей судьбы такой решающей была работа над «Ревизором». И не только потому, что эта замечательная комедия дает бесконечный простор для фантазии актера, неисчерпаемые возможности создания образа, но и потому, что Гоголь в своих высказываниях о комедии, ее цели и задачах, в письмах и предисловиях артистам, в авторских комментариях создает определенную школу комедийной игры, очень близкую моим творческим устремлениям.

Надо сказать, что Гоголь — сам превосходный режиссер! Все его комедии написаны с учетом законов театра, с четким видением того, как это будет представлено на сцене. Гоголь не признавал пьес, созданных для чтения. Он писал М. П. Погодину: «Драма живет только на сцене. Без нее она как душа без тела...»

Это ощущение театральности происходило прежде всего из большой актерской одаренности Гоголя. Все современники Гоголя, его товарищи по Нежинской гимназии вспоминали, что он играл в школьных спектаклях изумительно, а впоследствии был выдающимся чтецом. Гоголь писал В. А. Жуковскому: «...Вы сами знаете, что я не был бы плохим актером».

Об этой очень важной стороне дарования великого писателя мы часто забываем или пренебрегаем ею и стараемся додумать за него вместо того, чтобы внимательно прочесть и вникнуть в написанное.

Чем иным можно объяснить стремление некоторых режиссеров «заострить» Гоголя, их старательные поиски «особой» формы спектакля, отнюдь не вытекающей из пьесы, и, конечно, неудачи, которыми неизменно заканчиваются все эти попытки?..

На первый взгляд «Ревизор» поражает обилием происшествий, гиперболизацией образов, сгущенностью положений, чрезмерностью происходящих событий. Но при тщательном, глубоко, вдумчивом проникновении в текст комедии, при аналитическом, исследовательском подходе к каждому образу, к поступкам, мыслям, словам героя становится ясно, что за кажущимися нам чрезвычайными происшествиями кроются реалистические картины жизни современной Гоголю царской России. За гиперболическими образами встают типичные представители казенно-бюрократического строя николаевской Руси с казнокрад-

ством, взяточничеством, беззаконием. Встают все те, к кому обратил автор свой гневный эпиграф: «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

Известно, что сюжет «Ревизора» волновал творческое воображение Пушкина. Этот же сюжет разрабатывал украинский писатель Кантко-Осноряненко. Происходило так потому, что произвол местных властей по всей России был безобразным и только мысль о чиновнике из Петербурга заставляла эти «калосты» трепетать, наводила на них ужас и панику.

Поэтому так быстро и поверили все местные градоправители малоубедительному рассказу Бобчинского и Добчинского, давно известных в городе сплетников и болтунов, что они, как страшного суда, ждали ревизора и думали о нем.

Если прочесть комедию с этих позиций, внимательно все анализируя, то видишь, что никаких чрезвычайных происшествий в ней нет. И форма изложения событий психологически оправдана, глубоко продумана.

Начиная от знаком препинания в репликах действующих лиц, кончая цветом платья городничихи — все автором осмыслено, выверено.

Мне кажется, за свою сценическую историю «Ревизор» подчас неудачно воплощался на сцене именно потому, что постановщики его увлекались одной стороной дела: либо стремились глубже раскрыть содержание, забывали об острой, яркой, своеобразной и очень отточенной форме Гоголя, отчего спектакль получался наскучившим и скучным, либо видели только своеобразную форму, острые столкновения характеров и разрешали спектакль в водевильной манере, — тогда пропадало глубокое сатирическое значение комедии.

Признаюсь, на первых этапах своей работы над «Ревизором» я сам считал, что для воплощения Гоголя нужна особая манера игры, и придумывал «дополнительные» средства характеристики образов, различные «подчеркивающие» детали.

Впервые я стал играть Хлестакова сразу по вступлению в труппу Малого театра, в 1938 году. Мне еще свойственны были тогда некоторые элементы развлекательства, внешнего гротеска. Стремление к отточенности, заостренности образа выливалось в формальное решение отдельных сцен, а иногда и всего образа. Пятнадцать лет подряд я играл Хлестакова. За эти годы многое пересмотрел я в своем творчестве...

Во втором акте «Ревизора» — в сцене, которая происходит в гостинице, — Хлестаков, отослав Осипа за обедом, ждет его возвращения. Трудно было заполнить необходимую по сюжету длинную паузу, а монолог здесь короткий. И я, в душе считая, что Гоголь не продумал всех обстоятельств, начиная занимать зрителя замысловатыми переходами по номеру, суетней... От этого совершенно пропадала ремарка Гоголя: «Насмешивает сначала из «Роберта», потом: «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се, ни то».

На одном из спектаклей я плохо себя чувствовал, меньше двигался и в этой сцене тупо сидел за столом и свистел, как указано в ремарке. Эффект был совершенно неожиданный. Действительно, когда я, с трудом выпуская из себя свист, перехожу от одной мелодии к другой, а потом уж сам не знаю, что начинаю свистеть, я привлекал внимание зрителя к своему внутреннему состоянию. Он начинал верить, что Хлестаков, подгоняемый голодом, слонялся по улицам города, осматривая аппетитные прилавки лавчонок, облизывал сосиски от голода губы, глотая слюну, и теперь не может даже сосредоточиться ни на чем, так как голод дошел до предела!..

Перед этой сценой Хлестаков приказывает Осипу спуститься вниз к хозяину, потребовать от него обед.

Казалось бы, совершенно ясно, что мне в данном случае нужно делать: добиваться от Осипа немедленного и беспрекословного выполнения приказа. Но читаем в авторские ремарки. «Хлестаков (ходит и разнообразно сжимает свои губы. Наконец говорит громким и решительным голосом): — Послушай, эй, Осип! Перед словами «Ты ступай туда» ремарка: «громким, но не столь решительным голосом», а затем «голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе».

И вот уже совершенно по-иному звучит текст и совершенно иная задача встает перед актером. Здесь автор подсказывает даже внешние средства актерской выразительности, причем средства сценически убедительные и психологически оправданные. Теперь актер в свои слова вкладывает иной смысл. Это уже не приказание, а всего лишь неуверенная, жалостливая просьба человека, ничтожного, пустого и глупого, не привыкшего обдумывать свое положение и совершенно растерявшегося от невзгод, обрушившихся на него.

Вот тогда-то я убедился, как важно доверять Гоголю и ничего не играть сверх предусмотренного им.

Отказываясь от внешней заостренности и больше поверив внутренней правде образа, я добивался постепенно большей целостности и четкости актерской работы.

Но, избегая от излишеств, от засоряющих вещей, я ни в коем случае не хотел засушить или обеднить образ. Я оставлял все, что способствовало, как мне казалось, его раскрытию. Так, в сцене вранья Хлестаков рассказывает о своем знакомстве с Пушкиным. Отвечая за Пушкина, я шамкаю и показываю старика. Эта находка мне казалась интересной не как самоцель, я хотел показать невежество Хлестакова, не имеющего даже ясного представления о своем великом современнике...

В 1952 году я стал играть Городничего.

Теперь уже, имея за плечами опыт работы над Хлестаковым, я старался избежать тех ошибок, которые были при первой встрече с Гоголем. Но это не значит, что Городничего я сразу сыграл как надо. Я считал, что только наметил путь работы над образом.

В гоголевском Городничем видится мне «вознесенный на высоты» полицейский. Он вышел из низших чинов жандармского управления — отсюда и его манеры и его служебные «методы». Все это относится к сфере исторической достоверности. Но вот, например, сцена, где Городничий расписывает Хлестакову всю прелесть благоустройства вверенного ему города. Это для меня уже не только история. Я ищу здесь современные, нынешние краски, стремясь изобразить типического очкозрителя наших дней. И если мой Городничий в этом эпизоде интересен зрителю, то, мне кажется, именно потому, что он находит в классической пьесе черты прошлого, еще не до конца, не полностью изжитые сейчас.

...Разговор об образах Гоголя можно вести бесконечно, как и бесконечно работать над ними. Здесь никогда нет потолка. Но участие в пьесах Гоголя — это всегда большая, даже, скажу, лучшая школа и для участника художественной самодеятельности, и для студента театрального института, и для актера с большим стажем.

Имя Гоголя мы видим на афишах чуть ли не каждого советского театра — от академического до районного, передвижного. И со студенческой скамьи Гоголь прочно входит в творческую биографию актера.

Комедия «Ревизор» на сцене Государственного академического Малого театра.  
Марья Антоновна — О. Хорькова, Анна Андреевна — В. Н. Пашкина, Хлестаков — И. В. Ильинский.

Фото А. Горпштейна.





# В ДОМАХ И НА УЛИЦАХ РИМА



Мемориальная доска на доме, где жил Гоголь.

С. БУРДЯНСКИЙ

Не так давно группа московских литераторов в качестве туристов посетила Италию, побывала в Риме, ознакомились с его достопримечательностями...

На узкой тихой улочке Via Sistina, неподалеку от площади Испании, под № 126 стоит старый, ничем внешне не примечательный дом, каких еще много сохранилось в Риме. Внизу — небольшой бар. На уровне второго этажа, в простенке между окнами, белает травертин мемориальной доски, установленной русской колонией в Риме в 1901 году. Лазурный вагон из темной бронзы завершает высеченную на камне надпись с барельефом великого русского писателя.

С 1838 года по 1842 год здесь жил и трудился Николай Васильевич Гоголь.

Новейшие материалы из переписки друзей, воспоминания современников и неизвестные до последнего времени портреты Гоголя воссоздают его внешний облик и дают представление об образе жизни писателя в Риме. Этой теме посвящена недавно изданная в Италии книга Д. Боргезе.

Русская по рождению, итальянка по воспитанию, Дарья Васильевна Олсуфьева-Боргезе написала интересную, с любовью и вкусом оформленную монографию «Гоголь в Риме».

Живя в Риме, Гоголь научился совершенно свободно изъясняться на итальянском языке и однажды даже произнес импровизированную речь, оказавшись в остерии среди итальянских художников. Знание языка давало ему возможность свободно, смешиваясь с толпой, изучать местные обычаи и национальные особенности. И, конечно, самого себя имел он в виду, когда писал в отрывке «Рим»:

«Он старался узнавать более и более свой народ. Он его следил на улицах, в кафе, где в каждом были свои посетители... следил в остериях, чисто-римских остериях, куда не заходит иностранец... следил его в загородных живописно-невыразительных трактиришках... вешивался охотно в разговор... Но более всего он имел случай узнавать его во время церемоний и празднеств, когда всплывает наверх все народонаселение...»

В Риме, как и у себя на родине, Гоголь вставал очень рано и тотчас же принимался за работу. Трудолюбив он был необычайно, работал везде и всюду, в любой обстановке.

Писал он обыкновенно стоя: у себя — за специально изготовленным бюро, в пути — где придется. «Гоголь везде, как дома: везде водворяется по-своему и пишет», — сообщает в письме к родине поэт Н. М. Языков, — в Гаштейне сидел он так же, как и в Москве или в Риме: все утро один с пером в руке — и никому и ни на какой стул не отпирая дверей!»

В конце июля 1842 года Языков пишет брату: «...Гоголь путешествует эшпаля вилл заезжая (налегая, — С. Б.), ему и горя мало сделать в длиннине, где он, как дома, лишнюю сотню миль; в Риме же ему вольготнее и приятнее, чем в Москве, где для него слишком шумно и многолюдно. Разумеется, что он знает Рим, как свои пять пальцев, и что с ним ходить по тамошним достопримечательностям было бы очень весело...» Гоголь много путешествовал, не уставал восторгаться итальянской природой, но Рим любил какой-то особой любовью.

Целые ночи напролет писатель мог проводить в прогулках по улицам Рима, а в 1839 году, встретившись с В. А. Жуковским и гуляя по городу, стал набрасывать в альбом анны Рима. Итальянцы любят шутя говорить, что из всех видов работы они предпочитают отдых. Гоголю импонировало добродушное веселье и шутки этого талантливого народа; часто можно было встретить его за ужином в скромной трактирочке или за чашкой дымящегося кофе в маленьком кафе Греко на площади Испании. Память о многих выдающихся событиях и людях хранит это скромное кафе, основанное почти двести лет тому назад греком Николо ди-Маддалена. Здесь часто бывал и Гоголь и Адам Мицкевич, а позднее — Марк Твен, Лист, русский скульптор Антокольский.

И поныне в кафе Греко хранится старинная книга с автографами его знаменитых посетителей. А над одним из столиков — медальон с цветным портретом Н. В. Гоголя.

И всюду: на улицах, в кафе, в дворцах и картинных галереях, в музеях и на народных празднествах — писатель напряженно обдумывает свои произведения. «Я продолжаю работать», — сообщает он в своем письме Жуковскому, — то есть набрасывать на бумагу хаос, из которого должно произойти создание «Мертвых душ». Такие открываются тайны, которых не слышала дотоле душа».

Когда в Рим приехал для лечения его друг Н. М. Языков, Гоголь устроил его в том же доме на Виа Систина. «Гоголь нашел мне квартиру в том доме, где сам... пребывает... Две комнаты, хорошо убранные и солнечные, в одной — камин; надо мною, в третьем этаже, сидит Гоголь — тоже в двух комнатах; в одной из них — биллиард».

Комната, в которой жил писатель, была светла и просторна. Рядом с книжным шкафом — узкий соломенный диван, у двери — кровать. Посреди комнаты стоял круглый стол. У противоположной стены находилось письменное бюро, за которым работал Гоголь. У кровати и письменного стола — небольшие ковры. Несколько стульев с книгами и платом дополняли эту более чем скромную меблировку. В дневные часы, когда становилось жарко от палящих лучей солнца, закрывались внутренние решетчатые ставни, и работа продолжалась.

...Есть в вечном городе, воспетом всеми поэтами мира, скромные уголки, не предусмотренные официальными туристскими маршрутами и, тем не менее, дорогие нашему сердцу.

## Свет над тайной

Герман ФЛОРОВ

### Пять богатырей

Есть первый Братск  
И Братск второй,  
Братск-три  
И Братск-четыре,  
И пятый Братск над Ангарой  
Встает в таежной шире.  
Как братья, города растут,  
Гремят, родясь едва,  
И родословную ведут  
От Братска номер два.  
По ста дорогам, ста путям  
Идут машины с грузом,  
И любы новым городам  
Комбинезоны, блузы,  
Спокойный взгляд,  
Широкий жест,  
Уверенное слово,  
И высота обжитых мест,  
И красота родных невест,  
И праздников обнова.  
Могучим братьям все с руки,  
И дел у них немало:  
Они ведут грузовики,  
Они взрывают скалы,

И с каждым годом все смелей  
Берут у солнца краски  
Пять братьев, пять богатырей  
На берегах ангарских!

### Ока-сибирячка

Глубоководна и быстра,  
Оку встречает Ангара.  
Ока пришла издалека  
Неторопливо и спокойно —  
Она ведь тоже не мелка! —  
И в Ангару влилась достойно.  
Но вскоре, уходя в тайгу,  
Откуда кадры смотрят нежно,  
Как две подружки на кругу,  
Они расходятся поспешно.  
И в общем русле две реки  
Идут меж берегов просторных:  
Здесь — волны теплые Оки,  
Там — Ангары крутые волны.  
То разведет их островок,  
То катер в стороны раскинет.  
Но зол порог, и путь далек,  
И Ангара, темнея, стынет.  
И, с ней сливаясь на века,  
Согреть спешит ее Ока.

## ПЕВЕЦ РОДНОГО КРАЯ

В Вологде, в картинной галерее, открыта персональная выставка картин местного живописца Владимира Корбанова. На ней экспонировано более 200 произведений. Это творческий отчет художника за 12 лет.

Еще будучи юношей, он увлекался живописью. А когда стал штурманом на пароходе, перед его изданными молодыми глазами открылись картины родного края: вологодские деревни, леса, речушки. Кто знает, может быть, эта вспыхнувшая любовь к природе и родине в нем художника.

Но война, тяжелое ранение, затем служба на кораблях Северного флота надолго оторвали В. Корбанова от юсти и холста. После войны он окончил художественное училище, а затем и институт имени В. И. Сурикова.

Москвичи помнят его произведения на нескольких выставках молодых художников столицы.

После окончания института В. Корбанов, способный ученик известного живописца В. Цыплакова, вернулся в родную Вологду зрелым

художником. В этом убеждаешься, рассматривая картины на персональной выставке.

Любовь к природе, к своему краю, к своим землякам нашла живое воплощение в его произведениях. Сложилась ли уже у художника собственная манера письма, пока трудно сказать, но в его картинах чувствуется хорошая школа, а в работах последних лет — и смелая, уверенная рука.

Сильное впечатление оставляют волжские пейзажи художника, картины родного города: «Вологодский Кремль зимой», «Вологда осенняя» и другие работы.

Сейчас художник увлечен индустриальной темой. На выставке есть цикл этюдов, написанных на Череповецком металлургическом заводе. Кажется, что и в этой теме художник сумеет найти свое отношение к окружающей действительности.

В. Корбанов. ВОЛОГДА ОСЕННЯЯ.





# В Криво

Василий ТИТОВ

Фото В. КУЗЬМИНА.

Специальные корреспонденты  
«Огонька»

Живу в краю, где зимуют птицы. На дворе январь, месяц холодный, зимний, а тут и намек никакого на холод нет: скворцы распелись, как у себя дома, в Подмоскowie, и зяблик хоть и лениво, а пробует колесца из своей северной весенней песенки. Прозвенит чуть, цвиркнет и замолкнет, будто размышляет: «Ладно уж, хватит, по-настоящему скоро дома споем».

А кругом благодать и раздолье какое! Недалеко Ленкорань-городок стоит, за ним округлые, без льдов и снега горы к небу прижались, у самых гор внизу почти зеленое побережье бажит, море плескучее слушает, и есть тут место, где в большой морской заливе многоверстным, широким языком выдался с суши полуостров. Полуостров этот — Сарь, залив — имени Кирова, и на этом полуострове я и живу. Здесь, на воде залива и на полуострове, на многие километры раскинулся знаменитый Кызыл-агачский заповедник, а точнее — зимнее становище наших северных птиц. И чего-чего здесь только не зимует, из каких мест нашего необъятного птичьего севера здесь гостей не найдешь!

Вот выйдешь так хоть в полутра, хоть в полдень с Кулагинского поста в полуостровную эту саринскую степь по высокой колючей траве — станицы стрепетов всполошишь, подшумишь невзначай журавлей на болотце или чутких дроф на крыло поднимаешь. Стрепет и дрофа — птицы родственные, степные, на зимовку прилетают сюда из далеких степей Казахстана. Метков название стрепету дали! Дрофы, эти наши степные страусы, если их на крыло поднимаешь, сразу от тебя подалеже уйдут, садут далеко на сухом бугрище и долго будут смотреть, вытянув на длинных шеях свои маленькие головки, а ме-

ру ли от опасности ушли. А стрепеты, хоть и прямая родня дрофе, все же не таковы. Полубелой от подкрылий сотенной стайей поднимаются они на воздух и всей стайей долго-долго, как бы на месте, трепещут в воздухе, а потом поблизости и опустятся. Метко, очень метко названа птица: трепещет на лету.

Никуда не полетят, с места не тронутся только наши журавли. Важно, степенно поглядят в ту сторону, откуда опасно, неосторожатся малость и все останутся на месте, словно рассудят: «Чего же тут удирать, — свой человек идет».

Дальше, дальше в степь. Вот видишь, как степенно, неосторожно

коростель, что на летовье отсюда пешком до самого Архангельска доходит, что летом в подмосковных сырых лугах от зари до зари «бабы холсты на посмежку дерет»! Летом его из травы и с собакой не скоро выгонишь, а тут, нш, как свободно разгуливает между травянистых кочек! Что же, беги, беги, дергач торопливый, рад мимолетной встрече с тобой! Скоро ждем тебя вновь на родину, в росные травы, леть свою скрипучую песенку от зари до зари!

Но то все в степи. Степь саринская длинным языком делит залив имени Кирова на две части — на Большой и Малый. Большой залив и Куринской косе прижался, а Малый — к суше, где вливается мелкозводная Акуша. Там и лежат акушинские разливы, поросшие камышом. Так вот, главная-то красота заповедника на заливах, и особенно на Большом. Они ложистине криница племенного стада нашей промысловой птицы, что собирается сюда со всех

на всю эту уть издалека, — все мелководье вдоль берега будет под уткой. И как он радостен, как он волнующ вдруг станет для тебя — крик с воды, когда какая-нибудь серая крякуша, словно узнав в тебе знакомого человека, вдруг хватит оттуда свое расклатистое и зазорное: «Эй, сват, сват, сват, сват, сват!» Почувствуешь себя сразу как будто и не на этом дальнем конце нашей земли, а где-нибудь в родном Подмоскowie, и даже шапку сдернешь с головы, и помахаешь приветливо в ту сторону, где жирует на воде эта своейская птица.

Только вот гуся в этот час в заливе нет, нет и казарки. Рано, до светлого утра еще, на темнотозорьке снимаются гуси и казарки с воды и уходят далеко к предгорьям в Сальянские да Муганские степи брать осыпавшиеся семена рогоза. На залив гусь и казарка возвращаются уже тогда, когда вторая темнотозорька найдет за край неба. Тогда-то и гляди и слушай. Небо быстро темнеет, и так

# перелет уганских

у редких камышин, — должно быть, там сырое место — разгуливают и парами и группками аисты — те самые птицы, что под Киевом и Черниговом приносят маленьким детям младших братишек да сеестренок и зовутся там черногузками. Поодаль от них, прячась за камышины, белые цапли, дремля на одной ноге, стоят и, вероятно, думают сейчас: «Удирать или не удирать?»

А вот пресная лужица в стороне. Там такое широкое гулянье у куликов, что кажется — садыба идет. Вьюку и кулика-сорочку, и зуйков-перевозчиков, и поручику, и травников, что ходят, пошвыстывают, покачиваются на тонких ножках, копошатся в теплом иле своими носами и славно пируют на этом даровом теплом

Ну, а это кто же так быстро шмыгнул из-под самых ног и, словно узкая длинная бутылочка, помчался прочь между кочек, не задевая ни одной травинки? Ба, да это же наш дергач, тот самый

концов необъятной Сибири, Казахстана и старого русского Севера.

Выйди утром на Большой залив, погляди, послушай, что делается! Весь берег испещрен следами птиц. Тут и гусиная лапка на грязи видна, тут и фламинго шагал, тут и крестик, и алочки, и цепочки лысух, больших куликов, и разнородной другой птицы. Встанешь на берегу и, если чутко ухом, сразу услышишь такое звонкое, призывное «кляпанг-кляпанг!». То на далеких приглубых мастах, до которых и глаз без бинокля нейдет, держится горделивый лебедь-кликун, птица сторожкая и обособленная. Не мешается она ни с гусем, ни с лысухой, ни с палкаником, бытует малыми стаями, даже с собратом своим, лебедем-шипуним, вместе не живет.

Ближе к берегу всякая утка жирует: и черныш, и свиязь, и шилохвость, и нырков встретишь, и гоголя-рыбника — от утки тут черным-черно. Иди так берегом близко от воды на северо-запад за Кулагинский пост, и слушай, и гляди

же быстро, как темнеет небо, волна за волною возвращается эта птица от гор и со степей. Никогда наш северный серый гусь негде не меняет своего голоса. Как и дома, он и на зимовье кричит в сутемени неба обычно: чисто, ясно, звонко и спокойно, будто всю стаю ладит: «Правь за мной!» Вот по этому-то крику и узнаешь в темном небе первую гусиную клинопись. А за ней уже эшелонами в десятки сотен голов идет весь гусь на воду, а в разрывах между ними валит, тихо перекликаясь, казарка. Идет она на воду не как гусь — клинописью, а черными извивающимися лентами, и тогда кажется, что кто-то очень большой бросает из темной небесной высоты длинные извивающиеся на лету гирлянды из черного шелка, и они плывут, несутся по ветру и падают на черную воду. Всегда хочется в это время сидеть на берегу и слушать музыку птичьего перелета, а потом, набрав сухого рогоза, расстелить его где-нибудь у куста тамариска да





и завалиться на бок до утра спать здоровым сном, чтобы утром встать по холодку и послушать вновь, как птица будет вставать на крыло и пойдет, перекликаясь, кормиться в степи и предгорья.

Таков Кзыл-агачский заповедник. Там и дорог он, что здесь единственное место в нашей стране, где птица перезимовать может, откуда возвращается она на места гнездовий, чтобы выводить детей.

...У нас с Гамидом Алиевым на душе маладно. Отчего? Да оттого, что вокруг всех этих заповедных мест неотступно, неотвязно бродит человек с охотничьим ружьем.

Вот я сижу сейчас с Алиевым, крепким, здоровым, пожилым, с виду спокойным человеком, инструктором-наблюдателем заповедника, что уже второй десяток лет «разменял» на службе «при птице», сижу на берегу залива, гляжу то на темное небо, по которому в полумраке волна за волной проносятся гусиные стаи, то на него — он чистит свою берданку сухой долгой тростинкой — и понимаю, что не так уж спокоен Гамид. Дело в том, что Гамид гордится к... обороне. Сейчас в ночь нам нужно идти верст за десять отсюда, туда, на акушинские разливы, где кормится главным образом серая утка, чтобы к свету попасть в камыши и не дать там разгуляться на воле среди кормящихся стай наглым до предела браконьерам.

И, кажется, свято должно быть заповедное это место на нашей земле для каждого человека, никто посягнуть на него не смеет и не может, а получается на деле не совсем так. Каждый день, а особенно под праздники, с Малого залива, пыхаясь шестами в дно, проталкиваются с ночи через камыши на дощаниках-кулазах в акушинские разливы люди с охотничьими ружьями, и с утра там начинают греметь выстрелы. «Стучат», — говорят тогда наблюдатели на Акушинском посту и начинают надевать резиновые сапожки. И уже не-

мало рассказывал мне Гамид разных историй о стычках с браконьерами в акушинских камышах, но почти все они кончались тем, что браконьер уходил, а когда ему предлагали сложить оружие, отвечал: «Не подходи, стрелять буду!»

— И были случаи, когда по охране стреляли, — рассказывал Гамид, — да и теперь еще стреляют.

Не раз уже я намеревался в болотных сапогах проникнуть в разливы, чтобы посидеть ночь среди кормящихся птиц, подслушать их жизнь и говор, да где уж! С утра там начиналась пальба. За три дня, что прожил в сторожке, насчитал я более двух тысяч выстрелов. Значит, был выпущен за эти три дня в камышах не один пуд дроби. Сколько же птицы побито?!

«Кто же он, этот пресловутый здешний браконьер, что лезет очертя голову в камыши, бьет птицу и охрана с ним справиться не умеет? — думаю я, считая разбойные выстрелы. — Может быть, какие-нибудь «отплатые», для которых все трын-трава? Повидать бы хоть одного такого, в личность взглядеться, разгадать!»

— Еще увидишь и отвернешься, — отвечал мне на это Гамид. — Вот будем делать большую облаву, налюбуйтесь.

Но первого такого «стукача» увидел я раньше, до большой облавы, когда ходил в Большой залив к Куринской косе смотреть стадо розовых фламинго, которых всего с тысячу голов зимует здесь на мелководье. На быстходной дюралевой и очень устойчивой мотолодке старшина сторожевого катера заповедника Сергей Матвеевич Ватолин мчал меня

Старший инструктор-наблюдатель заповедника Гамид Алиев.



к Куринской косе, и я много услышал и узнал от него о недавних минувших делах, что творились в этом заповедном месте.

Рассказал Ватолин мне, как с самой войны лет пятнадцать краду свирепствовал здесь всякая в заливе рыбка, а браконьер, человек с охотничьим ружьем, не отставал от него.

— Есть тут на берегу, — говорил Ватолин, — один колхоз, где председателем и по сей день товарищ Садыгов. В море этот колхоз не ходит, рыбы там не берет и, видно, брать не собирается. Кто ему давал разрешение ловить рыбу в заливе, я не знаю, знаю только то, что за два весенних месяца, когда из Каспия рыба через залив по привычке идет на нерест к акушинской протоке, что соединяет с заливом мелководные акушинские разливы, он столько вычерпывал кутума, сазана и осетра, столько солил икры, что «перевыполнял» свой годовой план за одну весну, и десять месяцев подряд весь его поселок, почти ничего не делая, только погуливал. А черпал он рыбу старыми волокушами, распуская птицу так, что она в Иран и Ирак проходом уходила на убой. После же волокуш кормиться, особенно утке, здесь нечем было: снасть эта очищала дно от травы и от живности. Странное явление, но только год назад у нас в Азербайджане вспомнили, что существует Кзыл-агач, заповедник, и положили конец хозяйничанью рыбориков в заливе. Птица теперь вновь зимует у нас, но браконьер с ружьем остался.

Залив, по которому мы неслись, был так спокоен, и легкая, в вершок высотой, цвета дымчатого хрустала волна была так прозрачна, что через нее виднелась и другая, и третья, и четвертая волна-зыбунка, и так великолепно было розовое облако птиц, стоящих далеко от нас над водой на своих длинных ногах, что совсем не хотелось слушать печальную повесть, которую рассказывал мне Ватолин.

И вдруг на мелкой воде у косы розовую, похожую на азбучную пену стаю птиц будто кто-то сразу снизу встряхнул. Подпрыгнув на одном месте несколько раз, встал на крыло первый десяток птиц, вслед за ним еще и еще пошли на крыло, и скоро вся стая, всполошившись, беспорядочно поднялась в воздух. Ватолин от неожиданности даже руль на «пьяна» по-

ложил, и наша «дюралюшка» бешено описала почти полный круг на воде. Ведь вот же, как он лезет на рожон, браконьер! В тот момент, когда вся станица фламинго поднялась на воздух и стала в сторону уходить, открылась нам на воде лодка-кулаз «в два седока». Должно быть, они нас еще раньше заметили, потому что в лодке пошла возня, а скоро и мотор на ней зачихал, и лодка пошла быстрым ходом в сторону взморья.

Обогнули косу, догнали. Рослый дядя с ружьем в руке на носу, парень доброго склада за рулем.

— Стой!

— Чего стоять-то? Аварию терпим. Кардан поломался. Покуда чинили, течением к вам в залив занесло.

У Ватолина и ружье хорошее в руке, и лодка куда утонистее, чем у этого дяди, и помощь выстрелами вызвать с катера может. Ан вот не робеет тот человек, ружьем играет, другое ружье у ног парня лежит, и оба наглы до невозможности.

— Ну, не держи, не держи, чего уцепился за кулаз! Какой подозрительный! Не собрался я твоего птицу-фоломина бить. Видишь, и кулаз пуст, доказательств у тебя никаких нету.

Отпустил Ватолин: кто его знает, может, и правду говорит, хоть физиономия будто и «брешет». А выдал же все-таки себя, негодная душа! Едва только кулаз тронулся, а я навел на них свой безобидный фотоаппарат и собрался было уже «щелкнуть» эту встречу себе на память, как дядя вдруг ружье бросил в кулаз, парень руль опустил, и оба закрыли свои физиономии ладонями. Тогда Ватолин сообразил и повернул к тому месту, где раньше сидели фламинго, — искать, куда браконьеры выбросили птицу.

Нашли. На воде плавало с десятком лысух с отвернутыми начисто, по местному обычаю, головами, тушки других уже утонули и чернели на дне под неглубоким прозрачным слоем воды. Каковы мастера!

— Эх, промах я дал, — говорил Ватолин. — Ну глуп, ну глуп! Старого воробья на мякине проведи. Надо бы не верить, а сразу, сразу брать! Ну, не уйдут в другой раз, попадутся.

— Кто же они, — спросил я старшину, — откуда?

ПТИЦ



Браконьеры не желают «позировать».

Фото автора.

— Да почем знать, — отвечал Ветилин. — Ни физия, ни лодка не мечены. А только знаю, что они здешние и спакули. На базар работают, пух, перо, мясо там сбывают. Не они один тут такие...

«Жаль, жаль, ушли молодцы, — подумал тогда я. — Но сегодня облава большая. Хоть одного, да застукаем».

«Но вот Гамид уж почистил барданку, и мы идем с ним через ночь по тропе к Акушам, а ночь джунглями дышит. Вот где-то там, где должны быть заросли тамариска, вдруг раздался истошный крик».

— Что это, Гамид, кто кричит? — Кабаны шакала полоснули, на тропе попался.

— А откуда это так дышит теплом и птичьим пером?

— Казарки на ночлег на сулу присели, у них, у казарок, так бывает.

Ночь... Ночь торжественная, полная жизни, свежести и шорохов таинственной ночи!

«Пришли на пост, когда еще не светало, разбились на пары, полезли в камыши. Все наблюдатели — к спрятанным там кулазам, а мы с Гамидом идем по сушинам среди камышей. А камыши стоят, не шелохнутся, тихие, еще дремные, и не качают отсыревшими за ночь своими махалками».

Ночь не прошла еще совсем, а где-то близко в камышак из двух ружей и двух стволов разом: бах, бах, бах, бах! И тут же в ответ и так же разом уже не радостное утиное «эй, свят», а испуганно: «Свят, свят, свят, свят!» Утки стадами заматались над камышами.

— Пошло битье! Слышишь, друг? Да там десятка два «стучачей» работает.

И Гамид лезет в камыши дальше уже напролом, проваливаясь по пояс в воду. Спешу следом за ним. Десять, пятнадцать минут, полчаса такой «работы». Сердце словно выпрыгнуть хочет. Раз за разом в этом беге оступались и окупались по пояс в воду. И вот сквозь камышины на чистом разводье виден кулаз. В нем, пригнувшись, два молодца со вскинутыми вверх стволами ожидают налетной стаи. В кулазе уже серо от битой птицы, а рожи стрелков так просты и поэтически-вдохновенны, что видишь: совсем не чувствуют себя в «черном деле». А Гамид гремит уже через камышины:

— Стой, что делаешь, опусти и разряди ружья!

Эффект? Никакого! Потные, уповенные счастьем лица вдруг искажаются жесткой злобой, узкие, сощуренные глаза ищут Гамида по голосу. Переломили двустволки, выкинули патроны прямо в воду и быстро заложили по паре

новых. Ясно: сменили на карточь. Сунься к ним!

— Опустит ружья, плохо будет! В ответ:

— Не вылезай на свет, а то получишь!

А глаза все ищут в камышах фигуру Гамида, который провалился по самым подмышкам между двумя кулаками и похож сейчас на тюленя, выглядывающего из лунки. А тот, что в ответ преспокойно кричит Гамиду: «Не вылезай на свет, а то получишь», — так же преспокойно кладет ружье в кулаз, берет за шест и начинает пихаться прочь, в самую гущу камышей. Передвигается дальше в камыши и весь тот разбойный фронт, который нам невидим. Выстрелы пачками гремят дальше, и над нашими головами, севая маховым пером, проносятся перелетные утки.

Только под вечер возвращаются кулазы охраны. Лица у людей осунулись, одежда мокрая, раздражение владеет каждым.

— Ну что, схватили?

— Схватили тут, — отвечают, — карточь в мягкое место! Отогнали хоть. Они отсиживаются сейчас в камышах, где-нибудь на «сговоре», ночью по-тихому уйдут. Ну что, чай пить будем?

Чай! Только и остается. И все мы, кто управился со своей мокрой одеждой, обувью, пропустившей воду и устроенной для сушики возле теплой печки, садимся пить чай. Он сейчас очень кстати, горячий и душистый, греющий и тело и душу. Все мы пьем его полными глотками, обжигая то руки, то нёбо, и я в недоумении от того, что видел, который раз все спрашиваю:

— Да сколько же их у вас, кто они?

А Гамид, все еще зло развешивая мокрую одежду и вытряхивая воду из своих резиновых сапог, так же зло мне отвечает:

— Сколько? Хватает, хватает, говорю. Кто они? Поди узнай. Сегодня одни, завтра другие. Ружье, охотничье ружье у всех есть. Порох, дробь пудами заготавливаются. За порохом и дробью далеко ездить не нужно: сколько хочешь бери в охотничьем магазине в Ленкорани. И ружье тоже. Стукнуло тебе восемнадцать лет, иди покупай себе ружье, продается открыто, без охотничьего билета. А мало одного — бери пять, пожалуйста, никто ничего не скажет. В любом селении на пять зарегистрированных в охотничьей организации ружей сто незарегистрированных найдешь. И как только ты купишь ружье, ты уже охотник. Тобой никто не интересуется, что ты с ним будешь делать, можно ли тебе доверить ходить с ним, умеешь ли отвечать за свои дела на охоте. И вот рано или поздно такой охотник становится браконьером, потому что ему хочется стре-

лять, иметь добычу. А дальше уж путь известен.

В сухой одежде Гамид садится на подстилку, по-восточному подбирает под себя ноги. Он берет стакан чаю, ставит локти на колени, но видно, что еще не успокоился: руки у него дрожат.

— Ты думаешь, быют только здесь, у нас в заповеднике? Птица зимует на взморье, кормится в степях. Ты иди в Сальянские степи — и там быют птицу. Там гусь кормится. А пуганный гусь куда уходит? Ну вот, это понимать надо. А в горах был? Съезди в горы. И там быют, хотя уже и битье нечего. Горный орел, и тот ушел куда-то, а горного козла теперь не встретишь, хоть месяц броди. Ты слышал о горной куропатке? Может быть, она разве что на Большом Кавказском хребте теперь есть? А наш гирканский фазан, суланская курочка и турчак? Все истреблено, все выбито. Я говорю об этом верно, знаю, какие там дела. А название какое дали этим людям: браконьеры! Что оно значит, друг, не знаешь? Брак, что ли, в природе эти люди делают? А по моему, это просто разбойники, смешанный с жуликом. Чужой человек, который по нашим законам жить не хочет. А может быть, его еще никогда и никто не воспитывал, потому что против таких людей правильного закона еще нет.

— Какого закона, Гамид?

— А такого. Вот ты думаешь, мы не поймем кого-нибудь из этих людей? Поймем. Сегодня их двадцать было, нас десять, ошиблись немножко мы в расчетах. Завтра их будет десять, нас двадцать — поймем. Но что будет тому, кого мы поймем? Или до шести месяцев принудительной работы, или штраф две — три сотни рублей. Ну, отберем ружье, кулаз. И все. А что ему стоит заплатить триста рублей, когда он за предыдущую зорю, наварное, взял не одну сотню уток или в будущую зорю с чужого кулаза и из чужого ружья вернет себе все сразу? Значит, это плохой закон.

— Какой же нужен, Гамид?

— А такой, чтобы этот браконьер, грабитель природы, долго помнил его и долго выплачивал за свое преступление. Почему жестоко карают за расхищение государственной, народной собственности? Разве природа не народная собственность? Пора приравнять и природу к народной собственности. Пора наказывать за ее расхищение, как за расхищение народного добра. Вот какой нужен закон! И еще нужен закон о ружье. Оно должно даваться в руки тому, кто злоупотреблять им не будет. Совсем еще недавно оружие в магазинах продавалось только по охотничьему билету. Охотничий билет давали охотничьи общества. Есть много хороших и честных охотников везде. Дурному человеку трудно было получить билет. Значит, был глаз за человеком, которому давали право на ружье. Теперь этого нет, отменили это. Теперь ружье продается любому без контроля, без проверки. Почему так?

Мы ложимся спать. Но никто еще не успокоился, все возбуждены. Я ложусь на полу у низкого окна, слушаю ночь, слушаю разговоры и думаю: да, прав, прав же во всем Гамид! Я много езжу, много видел этого «вольного» люда с бесконтрольным ружьем, часто о нем слышал. Браконь-

ер шалит не только здесь. Вон в Кавказском заповеднике какие-то черные души уложили двух последних старых быков-зубров, и стадо самок осиротело, оставшись с молодыми бычками. Что же было бы, если бы браконьеров поймали? Они отделались бы за уничтожение редчайших животных только штрафом. Правда, по закону администрация заповедника могла бы предъявить браконьеру денежный иск в возмещение убытка. Но разве можно возполнить рублем потерю реликтовых животных, которых в природе осталось считанные десятки?

А подмосковные лоси, а лозинский и битый баргузинский да енисейский соболь и астраханская выдра?

Мне вспоминается одна цифра, которую я узнал в Главном управлении охотничьим хозяйством и заповедниками Российской Федерации, где разговаривал с Еленой Ивановной Ребровой, женщиной душевной и ведающей как раз борьбой с браконьерством.

— Вы знаете, сколько у нас за минувший год было выявленных случаев разбоя в природе? Ни много, ни мало, как двадцать тысяч только по одной Российской Федерации. А сколько невыявленных, скрытых случаев было, того мы не знаем. Прибавьте сюда злодеяния браконьеров, совершаемые в союзных республиках. Цифра получится умопомрачи-

— Что же надо делать?

— Нельзя оберегать природу только рублем, — отвечала она. — Нужен общий неумолимый закон об охране природы. Нужен такой закон, чтобы сам народ знал, где, что, как и от кого оберегать. Нужно не слабенько, рублем, наказывать за истребление птицы и зверя «неуказанное время» и «в неуказанном месте», нужно жестоко наказывать виновных и за загрязнение рек, и за рубку реликтовых лесов, и даже за порчу пейзажа. Вот скажите: почему у нас недра взяты под такую охрану, что почти никому в голову не приходит браконьерски искать где-нибудь «золотишко» и копать драгоценные камни? Почему же у нас природа не взята под такую охрану и браконьер, как тень далекого «промышленнического» прошлого, когда хищнически валили леса, выбивали зверя, облавливали рыбу, тащится за нами с ружьем в близкое светлое будущее, как какой-то «паразиток», который все еще терпит? А ведь в природе все быстро меняется, и утраченное в ней почти не возвращается.

Разговор этот запомнился. И вот сейчас он мне бередит душу. Да ведь это же самое, если разобратся, говорит и Гамид, человек простой, которому поручено охранять заповедное место, где берегутся племя, остатки того, что за год было бито и бито и на перелетах, и на кормищах, и в ухоронных разных местах, и на всяких зорях еще на севере, и которому завтра встает чем свет, лезть в камыши, чтобы «пугать» там браконьера. А завтра он, браконьер, опять придет в камыши, опять «застучит» там.

Вот ахал я в тихий край зимующей птицы, а попал в край перелетной. Не пора ли кончать сурово, как следует с этим на нашей земле?

Ленкорань.





Ю. Н. Тупин (СССР). ЛЕНА. 1912 ГОД. 1957 год

Выставка произведений изобразительного искусства социалистических стран.

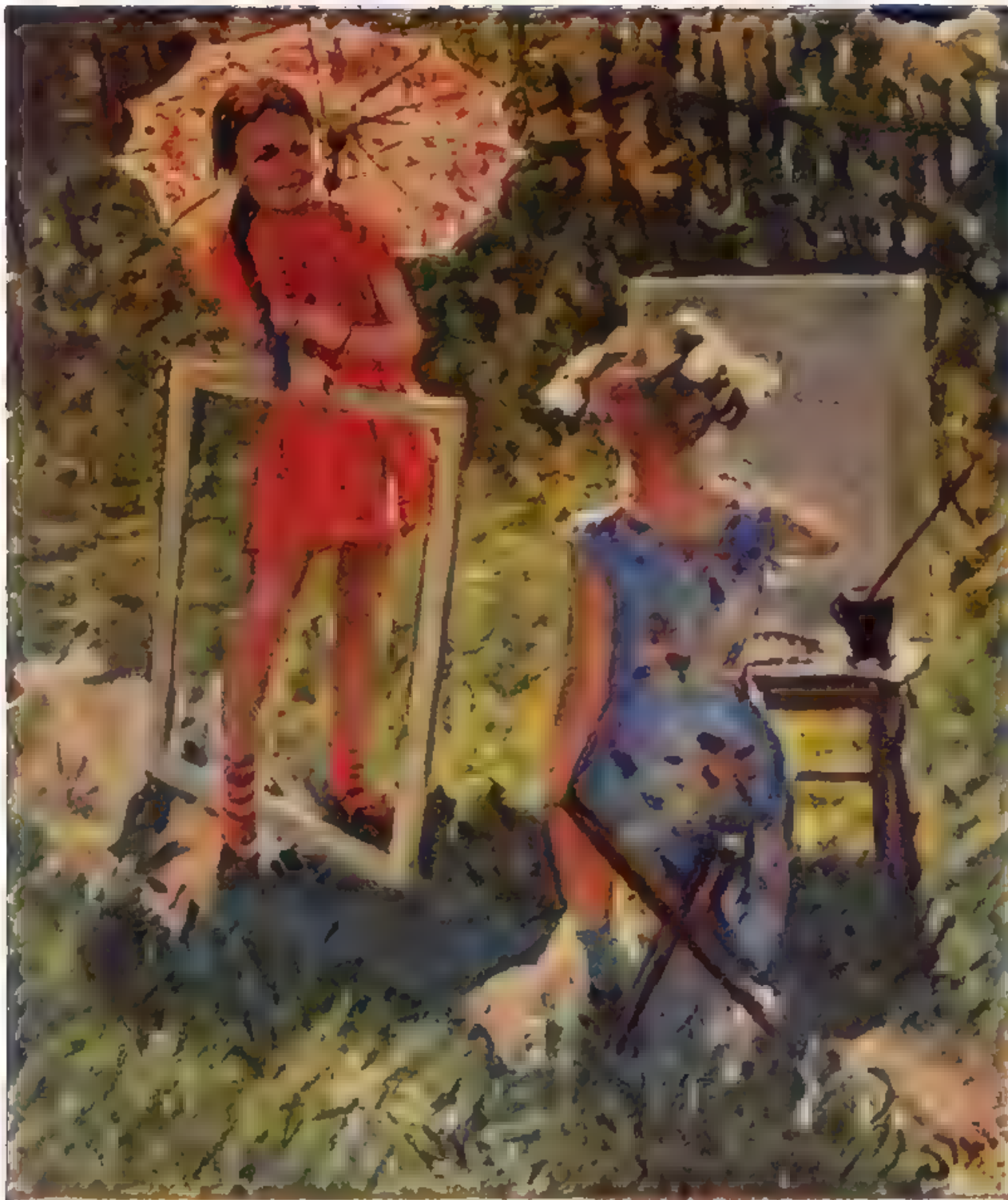


Л. Д. Корин (СССР). ПОРТРЕТ НАРОДНЫХ ХУДОЖНИКОВ СССР М. В. КУПРИЯНОВА, П. Н. КРЫЛОВА и Н. А. СОКОЛОВА (КУКРЫНИКСЫ). 1938 год.





М. Г. Дерогус [СССР]. МОЛОДИЦА 1956 год



Л. К. Дарбачева. ЮНЫЙ ХУДОЖНИК.  
1958 год.

Выставка живописи и скульптуры  
Москва.



Ю. Н. Дудов. СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА  
МЕТРО. 1958 год.



# Кирилл Извеков

## В 1921 году



Конст. ФЕДИН

Рисунки А. КОКОРИНА.

Публикуемый эпизод из нового романа Конст. Федина «Костер» по времени действия относится к молодым годам героя. Это воспоминания Извекова об его участии в гражданской войне, о первой встрече с Новожиловым, которому в романе, посвященном Великой Отечественной войне, отведено значительное место. «Костер» является последней книгой трилогии, включающей известные читателю романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

...Белые армии были разбиты. По укромным углам русской равнины держались одни шайки бандитов. На подавление бандитов Извеков был послан в лесную Тамбовщину с отдельным отрядом Красной Армии. Но неожиданно его откомандировали из армии и назначили начальником милиции. Тут встретился он с Новожиловым.

Новожилов стоял во главе местной чрезвычайной комиссии. В первом разговоре с глазу на глаз он сказал, что, мол, вот Извеков два года был комиссаром на фронте и служба в милиции чужится ему, неверно, мелкой. Но милиция — дело особенное. Она близка к населению, много знает, должна больше кого другого отвечать. Слыхая ли Извеков, спросил он, за что посадили прежнего начальника? Нет!

— Это относится к теперешней твоей задаче, — сказал Новожилов. — В уезде гуляет Иван Шостах. Он из эдаких. Был раньше у белых, дезертировал. Сразу, как возвратился домой, начал подбивать по деревням людей: «Айда, ребята, за мной — искать в зеленом лесу правду». Научился у своих атаманов на юге. Мы все время на его следу, но банда уходит из-под рук. У Шостака что ни деревня — свои покровители. Он прошлый год ловко купил кулаков: отбил у советского продотряда обоз с хлебом и весь вернул кулакам. Они в благодарность всю шайку от себя на пакк поставили. Мы арестовали человека сорок, в которых знаем, что они с бандитами связаны. Начальнику милиции приглянулась одна молодуха из арестованных. Он потом сам показал, что красавица стояла у него перед глазами во сне и наяву. Выведут арестованных на прогулку — он за ней в щелку смотрит, оторваться не может, — пава! Про себя он решил: попроси она, чтоб он помог ей убежать, он поможет. Она возьми, да и заговори с ним. Почувала, видно, его вздохи. Этот народ опытный. Я с ней беседовал. Действительно, хороша собой, ведьма. Дальше — больше, начальник стал давать ей разные поблажки. А уж тут — что ему оставалось? Они положили бежать вместе. Но сорвалось: мы перехватили их по дороге... На следствии пава эта смеется мне в лицо: потеряли вы, говорит, начальника, он теперь ко мне прикован. А про свои делишки с бандой — ни слова. Но мы установили, что она вела дружбу с Шостаком еще прежде, чем ему уйти с башни. Начальник милиции икает, будто об этом не знал. Да все равно. Знал, не знал — чести не прибавит. Первый долг милиции — честность. Если без утайки, то у нас в этом пункте имеются нарушения, — закончил Новожилов.

Извекову поручили ликвидировать банду. Это была его единственная операция на службе в милиции: его вскоре отозвали, он опять вернулся в армию.

Задача была военной, но войну в деревнях вели хитрее, чем на фронте: не адрут углядишь, кто на чьей стороне, все будто мирно, гладко. Идешь по земле, как по травке. А под травкой — огонь. Где он вырвется, не угадаешь.

Как только Шостаку стало известно, что прислан красноармейский отряд, он начал бешено маневрировать, запутывая следы банды, распроставая по деревням вздор о ее движениях. Извеков поддерживал с красноармейским отрядом связь: Шостах все внимание сосредоточил на военном отряде и, отходя от него, сближался с милицеей группой. Разведка наконец донесла Извекову, близ какой деревни банда остановилась на дневку. Шостах перед тем ночевал в этой деревне у завязанного кулака Воронкина. Не исключалось, заночует и еще раз. Извеков решился действовать немедленно. Людей у него было немного, и только он один и его помощники на конях, остальные пешим. Но он успел до вечера обложить деревню двумя линиями милиции с лесных сторон. Проезжую дорогу, которая шла по деревне из конца в конец улицей, Извеков приказал держать открытой, поставив секреты.

Один милиционер, родом из этой деревни, в сумерки заметил на дороге крестьянку, узнал ее, вышел из укрытия, поговорил с ней. Она направлялась ночевать в соседнее село, чтобы с утрачка занять очередь в фельдшерском пункте: она мучилась зубами. Милиционер не удержался спросить про Воронкина. Она ответила: ничего, мол, черту лысому не делается, живет-пирует.

— И сейчас пирует? — спросил милиционер.

— А кто его знает!

К полночи лазутчик доставил Извекову сведения, каков был результат разговора на дороге. У Воронкина за полдень были будто бы неизвестные люди, пили самогон, но, как присмерничало, вдруг схватились с места и все до одного исчезли. Операция была выдана. Извеков арестовал милиционера, сказав, что женка своими больными зубами заговорила дураку его здоровые.

Надо было поправлять проруху. Извеков подтянул обе линии милиции к деревне и в полночь приказал проводить себя в избу Воронкина.

Ему открыл сам хозяин. Кирилл велел засветить огонь, вошел в горницы в сопровождении двух милиционеров, другие оцепили двор. Вся семья поднялась со сна, чужих никого не оказалось. Воронкин был человеком ужимым. Он признал, что днем к нему явились люди, погрозили («есть как вы теперича, товарищи») оружием, потребовали достать вина, выставить сала, выпили, наелись, наказали проглотить язык («не то быть от двора моего с избой останутся одни головешки») и ушли, как пришли. Никого из них Воронкин, по словам его, никогда не знал, а исполнял, что они требовали, под страхом. О Шостаке заявил, что о таком слышал, но видеть не видал («бог милостив»), и в подтверждение перекрестился на божницу.

— Ну, Воронкин, довольно вранья, хоть врешь ты складно, — сказал Кирилл. — Нам все известно. Правды от тебя добьются суд. А теперь выбирай: либо ты сейчас идешь в тюрьму, либо выполняешь задание, которое исполнить я тебе прикажу. Банда Шостака свое отгуляла: она в кольце. Мы действуем с Красной Армией. У Шостака один выход — сдаваться. Понятно?

Воронкин ответил с раздумьем:

— Понятно. Давай вам бог, ежели оно так, как изволите сказывать. А какой же мне будет от вас приказ?

— Ты сейчас отправись к Шостаку и скажешь, чтобы он вышел со мной на переговоры. Передашь ему от моего имени, что Красная Армия вести переговоры не будет, у нас приказ: разгромить шайку наголову. Бандитам выгоднее иметь дело с гражданской властью, с милицией. И это тоже передашь Шостаку. Запомнил?

— Как не запомнить! Куда только, товарищ начальник, мне теперь идти? Вы укажете? Лес велик, а ночью того больше. Каким таким людям ваше слово передать, которых я ведаю не ведаю?

— Тогда вели хозяйке дать тебе смену белья да две каравая хлеба на твоих конасирок. Пойдешь в город, в чека.

Женщины по горницам, за ними детишки принялись голосить, плакать. Воронкин цыкнул на домочадцев, чтоб замолкли, стал к иконам, помолился. Оборачиваясь к Извекову, развел руками:

— Тут тюрьма, там смерть — выбирай, чего хочешь. Сколько живу — ни разу не ходил по грибы в ночное. Слушаюсь, товарищ начальник, ваш...

— Не задумай остаться с бандой! Я буду ждать тебя в избе. Никто из твоих отсюда не выйдет, пока не вернешься. Не забывай про семью.

— Об ей как забыть! — сказал Воронкин и с этими словами взял с лавки армяк, накинул на плечи и, поклонившись Извекову, пошел к дверям.



Много передумав Кирилл, дожидаясь Воронкина, поворачивая в уме его последние слова, которые могли означать что угодно. Так ли, так ли поступит Воронкин, но с появлением его у бандитов Шостак получал достоверные сведения о местонахождении милиции. Стало быть, надо было ждать удара с любой стороны.

Однако на рассвете Воронкин возвратился и принес ответ Шостака. Главарь шайки соглашался встретиться при условии, что встреча произойдет без оружия.

— Значит, бандиты будут меня держать на мушке, а я перед ними, как новорожденный, — сказал Извеков.

Воронкин пожал плечами.

— Я ихним желанием не волен.

— Ты ничему не волен, а, небось, сыскал в лесу своих дружков без промаха!

— Не я их искал, товарищ начальник, они сами меня пымали.

Кирилл засмеялся. Подумав немного, он расстегнул пояс, скинул с плеча портупею и отдал свой маузер милиционеру.

— Показывай дорогу, — приказал он Воронкину.

Они вышли за околицу деревни вчетвером: двое милиционеров при винтовках конвоировали Воронкина, Извеков ехал верхом. В лесу висел туман и было сонно-тихо. Они прошли с полчаса, когда Воронкин объявил, что с этого места Извекову надо ехать по просеке, на которой его встретят и проведут куда следует.

— Когда встретят?

— Они скажут. Услышите.

— Ты знаешь, Воронкин, чем я рискую, — предупредил Извеков. — Но мои ребята (он показал на коня) тоже знают, что им с тобой делать по первому выстрелу.

— Кто же станет стрелять, товарищ начальник, когда вас ихний голова дожидает? Извольте навязать на рукав белый платочек да езжайте себе шагом.

Так Извеков и сделал.

На узкой, заросшей просеке туман был гуще. Сентябрьский холодок нетронуто держался в лесной тени. Но Кириллу было жарко. Он расстегнул шинель и френч. Сделать это было надо и потому, что френчем к самому сердцу прижат был наган. С каждым шагом назойливее мучило его желание повернуться вспять. Ему казалось, он обманут. Весь его план представлялся ему детски-глупым. Но он видел, что перестраивать замысел поздно. Время потеряно. Он отпустил поводья. Конь обходил выступающие из тумана деревца молодого подлеска. У Кирилла было ощущение, что просеку заглатывает вода и сам он медленно идет ко дну. Он глядел на часы. Стрелка двигалась лениво, как никогда.

Раздался свист. Конь рванул вбок. Кирилл остановил его. Было тихо. Он тронул вперед. Засвистели еще раз. Он вновь остановился. Что означали слова Воронкина «они скажут»? Он подумал: разбойники говорят свистом. Он не двигался. Он думал: как быть, если его подкарауливают справа и не видят платка на его левом рукаве? Он ничего не слышал. Он следил за ушами коня. Конь поводил ими в обе стороны. Вдруг он потянул мордой влево, поднял ее, дважды кратко и тихо проржал. «На лошадей», — подумал Кирилл и крикнул с нетерпением:

— Выходи! Я безоружный!

Почти сразу он услышал шелест раздвигаемой листвы. На просеку вышли двое. Один держал винтовку наперевес, другой — браунинг. С противоположной стороны показались еще двое вооруженных. Все они неторопливо обошли коня кругом, держась в сторожком отдалении. Тот, что с браунингом, спросил Извекова, кем он будет и приваля ли кого-нибудь за собой. Потом потребовали, чтобы он спешился, и взяли коня под уздцы.

Кирилла повели в лес по старой тропе. В нескольких шагах стояла привязанная к осине лошадь. В седло вскочил человек с браунингом — он командовал людьми. Скоро вышли на небольшую поляну. Туман здесь успел поредеть, было светлее. Извекова вывели на середину поляны и отошли от него. Он сказал себе, что, может быть, теперь конец, и улыбнулся тому, что во всем виноват сам. Он стоял, как перед расстрелом.

Спустя минуту против него на опушке бесшумно появились три парня и, раздвигая сапогами несматую, тяжелую от росы траву, медленно зашагали к нему. Средний из них — высокий, очень худой, с подстриженными темными усами, в запачканной панаме и накинутой на плечи помятой военной шинели — первым остановился перед Извековым и приложил руку к виску. Кирилл удержал дернувшуюся в ответ руку и кивнул. Все молчали. Голубыми навязате глазами высокий рассматривал из-под пригнутого поля панамы лицо Извекова. Парень справа проговорил нахмуренно:

— Атаман Иван Шостак слушает. Что скажете?

Извеков повторил слово в слово то, что уже должен был передать Воронкин. Шостак молчал. В стане шайки принятого решения, очевидно, не было. Ее главарь раздумывал, прикрывая свои мысли словно омертвевшей неподвижностью испитого лица. Неожиданно оно все дрогнуло, от сощуренных глаз до рта, который засветился нервными зубами. Он спросил слегка певучим голосом:

— Вы требуете сдачи на милость?

— Я ставлю требование по расчету сил. Превосходство на нашей стороне.

— Мы о вас больше знаем, чем вы о нас, — сказал Шостак.

Он взглянул на своих подручных. Они усмехнулись. Лицо его опять остыло. Он добавил вызывающе:

— Красноармейский отряд заплутался в четырех соснах. А над начальником милиции сейчас наша воля.

— Я не боюсь и не верю, что вы меня убьете, — быстро и зло сказал Извеков. — Это вы прежнего начальника вокруг пальца обводили. За то он теперь и сидит. Вы меня убьете. Вас все равно разобьют, переловят. Уйти вам некуда. За нами Советская власть, а что



за вами? Вы убьете десятерых. Вас уничтожат всех. Сложите оружие. Я гарантирую вам жизнь. Если кого суд накажет, отбудете наказание — станете честными людьми.

Оба парня покосились на своего жока с улыбкой. Его лицо не менялось. Кирилл чувствовал, что пора выкладывать козырь.

— Кто из вас хочет сегодня же пойти по домам, ночевать с женами? Все могут идти. Завтра явитесь, я сдам вас Советской власти. Вас будут судить, применят амнистию, как к добровольно сдавшимся, — закон вам известен. За свое слово я отвечаю. Убьете меня — вам хуже. Дальше бандитить не рассчитывайте. Ваши семьи у нас в руках. (Кирилл остановился на мгновение.) А у кого семей нет — красавицы. Сошлем всех. Сдадитесь — семьи будут пощажены, и вы к ним вернетесь.

Он замолчал. Шостак не двигался. По-прежнему выпяченными своим голубым взором он изучал лицо Извекова. Потом голова его нехотя оборотилась вправо, и, будто с удивлением, он хмыкнул, не открывая рта: «Мм!» Наверно, это была его манера спрашивать: парень, на которого он смотрел, потупился, но не ответил.

Шостак снял панаму, взмахнул ею, как флагом, и вдруг высоким, задвигавшим голосом пропел команду:

— Парламентера от-пу-стить!

— Я буду ожидать два часа, — сказал Извеков. — Прибыть надлежит с оружием во двор Воронкина.

— Переговоры кончены, — отрезал Шостак и отступил на шаг. Парня заслонили его собой, и через их плечи он, смеючись, сказал: — Приткий товарищ!

Той же тропой Извекова проводили на просеку. Ему отдали коня. Он перекинул поводья, поправил седло, не спеша сел и тронул шагом. Он думал: что же означала команда — отпустить? Отпустить на тот свет? Он ждал пули в спину. Он едва подавил желание выхватить спрятанный наган, чтобы отстреливаться. Но он продолжал ехать шагом. Уже уверенный, что туман скрыл его, он ударил коня стремями и поскакал.

Когда он заглянул милиционеров и осадил коня с галопом, его встрянуло ознобом, и он почувствовал, как ледяная нательная рубашка словно примерзает к лопаткам и плечам. Он приказал милиционерам занять секреты, чтобы надежно следить за бандой, и вернулся с Воронкиным в его избу.

Время, назначенное Шостаку на размышление, он провел в подготовке к схватке, на которую рассчитывал больше, чем на сдачу бандитов. Срок истек, а их не было.

— Что, Воронкин, уйдут твои дружки?

— Один господин знает, — вздохнул Воронкин. — Не изней кончики дождяю, а своей...

— Убьют они тебя за то, что их выдал!

— Время такая, каждого кто-нибудь безотменно убьет...

Извеков не успел открыть рта, чтобы ответить: прискакал его помощник с донесением: банда, при оружии и во главе с жоком, вышла на дорогу и двинулась к деревне.

Ворота были распахнуты настежь, в глубине двора, из-под повети выглядывал пулемет «максим» — оплот милиционеров.

Шостак подъехал к воротам и спешил. Извеков подошел к нему.

— Приняли условие?

— Не доверяешь? — почти с насмешкой спросил Шостак, опять уставив выкаченные глаза в лицо Извекова.

Оба помолчали.

— Сдашь оружие — заслужишь доверие.

Шостак содрогнулся всем корпусом, отвернул лицо на свой отряд, застыл. Извеков следил за его опущенной правой рукой. Кисть ее была прижата к бедру, и тонкая, светлая материя пальтеца, затянутого в поясе офицерским ремнем, струисто переливалась под дрожащими кончиками пальцев.

На поворачиваясь к Извекову, Шостак небрежно сказал:

— Всякому делу свой черед. А выслуживаться не собираюсь.

Он вскинул руку, прихватив свою панаму, помазал ею высоко над головой. Вся его команда, вытягивая шеи, чтоб лучше видеть его, зашевелилась. Хмурый парень — тот, который на переговорах в лесу первым обратился к Извекову, крикнул с коня:

— Слушай, ребята, атамана!

Шостак опустил руку, выждал тишины. По кадыку его, острым, большим углом выпиравшему на худой шее, видно было, как он раз за разом проглотил слюну. Потом пронесся вдоль улицы его пронзающий голос.

— Коней во двор, на конюязь! Пешим всем до одного в избу за мной!

Он резко повернулся и, обходя Извекова, пошел вперед на крыльцо.

В горнице он сел к пустому столу. Воронкин, свесив голову, стоял поодаль, у косяка. Шостак сказал ему со своей мгновенной гримасой усмешки:

— Что ж плохо принимаешь гостей, хозяин?

— Хозяин будут вот они — товарищ начальник, — ответил Воронкин.

Извеков вдруг приказал ему раздобыть ведро самогона, принести свежей зелени да зарезать барана. Воронкин не только безропотно, но с виду повеселев, бросился через сени на бабий кут давать распоряжения.

Извеков сел рядом с Шостаким, к торцу стола, почти под иконы. Атаман молча глядел за окно. Изба стала заполняться его людьми. Кто постарше, устраивались на лавках вдоль стен, помоложе скупались у печи, в дверях, и все теснее набивались в сени, откуда уже выглядывали форменные фуражки милиционеров, одна к другой.

Еще на улице Извеков прикинул на глаз число бандитов. Оно было невелико, не больше трех десятков, и ему запало подозрение, что явилась не вся шайка, а могла какая-то часть укрыться в засаде, и,

стало быть, милиция приготовлена ловушка. Но по словам Новожилова тоже выходило, что людей у Шостака мало, силен же он поспособством кулаков. Наверно, Шостак, сам того не думая, навел Извекова на мысль выставить банде вина: откажись она пить — значило бы, что замыслена каверза; прими она угощение — тогда можно ее употребить допьяно.

Извеков внимательно поглядывал на собравшихся.

Все они держались за свое оружие. Наполовину были с винтовками, кое-кто — с охотничьими дробовиками, а двое — даже с берданками образца прошедшего века.

— Небогато оснащено твоё воинство, — сказал Извеков Шостаким.

Тот сразу и нарочно громче отозвался:

— Хватает! Одним «максимом» нас не запугаешь.

— Одним не знаю, а моим трем нечего делать, — шепнул Извеков, но тут же пожалел: шумок, поднятый сапогами, оружием, пока люди размещались, заглох, едва они услышали разговор. Слова его были вняты всем, и тишина наступила такая, будто горница змиг опустела. Начинать с угроз было не к месту. Но Шостак неожиданно пришел Извекову на помощь.

— Ну, коли так, начальник, открывай конференцию по нашему перевооружению, — засмеялся он, — мы от твоих «максимов» не откажемся!

Хотя казалось, что шайка прибыла с готовым решением, но люди словно ожидали каких-то перемен, и смех главаря прозвучал одиноко. Извеков осадил его:

— Шутить рано. У нас не перемирие. Раз привел людей, — значит, условия мои приняты, надо их выполнить. Без общего вашего согласия ты бы сюда не явился.

Все плядели на атамана, но тут задвигались люди в сенях, стали расступаться. В горницу протиснулся Воронкин, со взвешенным затылком, с мокрой лысиной, и — по четверти самогона в руках.

— Поладра расстарался, товарищ начальник, — бойко оповестил он. — Покуда разопьете, мужики промышлят еще... А барашка в серое обихаживают. (Он махнул пальцем по глазам, будто смахивая слезу.)

Девочка в синем сарафане робко вынырнула из-за его спины, кучей высыпала из подола на стол огурцы, веником бросила охапку стрелчатого лука. Женщины стали вносить щербатые чашки, стаканы, кружки. Кто-то зычно сказал:

— Поминки, похоже, ребята, а?

— Сватанье! — задорно поправил другой.

— А который жених?

— Вои красный околыш сговорил себе в бабы Иван-атамана.

Шостак вскочил. Худое лицо его удлинилось, побелело. Он шумно втянул воздух, но сдержал голос:

— Кто меня заместил — подыми руку!

Все замерли. Шостак переждал секунду, потом на свой лад певуче сказал:

— Моя воля — мой ответ. Наливай вина!

Он сел, опять отвернулся к окну. Начали разливать, поднесли первый стакан Шостаким. Он крикнул Воронкину, чтобы подошел. Тот принял стакан, но поставил его перед Извековым, поклонился ему, назвал его «уважаемым товарищем», осклабился. Извеков отодвинул вино, покочав головой.

Шостак трунливо спросил:

— Брезгуешь нами?

— Служба запрещает, — ответил Извеков и, погодя, договорил: — Да и не за что пока с вами пить.

Шостак снова быстро поднялся, отвесил поклон на обе стороны.

— Пейте, молодцы, на здоровье. Я выпью, чтоб мячеха-судьбина не больно вас била. Как порядили, так тому и быть. До нового свиданья.

Он, стоя, неторопливыми глотками опорожнил стакан до дна. Ему подали солонищу, дали лук. Принялись пить его побратимы, передавая друг другу сборную посуду. Захрустели на зубах огурцы, закрипел лук. Стало шумнее, хоть слова еще были у всех редки и коротки.

Шостак придвинулся к Извекову.

— Что ты нас не разоружаешь?

— Не хочу вас унижать. Разоружайтесь сами.

Навалившись на стол и снизу близко подставляя свое лицо Извекову, Шостак остро-испытующе сверкнул на него взглядом.

— А что потом будешь делать?

— Потом всех перепишем, отпустим до завтра по домам.

— Перепишешь? По пачпортам или как?

— Ты что, паспорта своим выдал?

— Зачем выдавать? Революция пачпорта отменила. Остается тебе записать нас по кличкам.

— Один созрел, а скопом не удеется, — улыбнулся Извеков. — Думаешь, мало про вас знаем? Вот хоть бы ты. До войны певичим был, так?

Шостак откинулся к стене, тихо смеясь, взял стрелку лука, откусил, пожевал.

— В козловском соборе пел на клиросе, это верно. (Он задумался, но тотчас покосился на Извекова надобро.) Ты меня по лесам не за то ведь ловил, что я певчий?

Он подождал ответа. Извеков молчал. Шостак поднял взгляд к матице, губы его обиженно что-то пошептали.

— Я человек музыкальный, — сказал он со вздохом. — Мне много говорили: учиись, Иван, вторым Собиновым сделаешься. Тенор у меня был атласный. И нынче еще, как запою, народ за мной — в огонь так в огонь. А женщины... Девушки эти... Да что себя растрезылять! Пришла война, забрали в солдаты. Очень меня оскорбило, что природного таланта не пожалели. А там уж поехало...

— Что же, от белых сбегал? Несладко?

— Я за сахаром не гоняюсь. Мне справедливость подай, вот чего

хочу! Справедливости! — чуть не зарычал Шостак и грозно любил себя в грудь кулаком.

— В бандиты пошел за своей эсеровской справедливостью?

— Не за своей, а за моей и твоей, твоей человечей, а не милицейской, и вон за его, и за его, за всеобщей, мирской! — повел Шостак рукою на окно и пропал: — Ребята! Разливай по чарочкам, потрудися! Да чтоб никого не обделять! По-божески. Слышишь, в нос бераньиной шибнуло?

Шум скоро закружил по горнице винтом, на столе появилась третья четверть, в сенях пробовали песню, кто пристукивал прикладом по полу, кто завел спор. Воронки с кем-то обнимались, какой-то малый голосил через головы бабонькам, чтоб они сбегали в погреб — поскрести по днищам кадушек, не осталось ли чего соленого, квашеного.

Шостак неожиданно забеспокоился, озирая пьяневших людей своих, да, видно, и по себе заметил, что хмель в нем не спит. Он олять пригнулся к Извекову.

— Лучше разоружи, а то вино ударило в головы. Не знай, что может случиться. Народ горячий.

— Ты не страшай, — сказал Извеков, — а скорей дай приказанье. Я приказывать не буду.

Шостак раздумывал. Извеков следил за ним настороженно: не угадать было, что бродит в уме у избалованного послушанием, самовольного вояки. Долго ждать, как дело само собой пойдет дальше, казалось, опасно, но вмешаться в него было, пожалуй, еще опаснее: люди только разгуливались, заливая вином горькие свои росстани. Нанеси обиду их гореванью — разве не могут они со зла повернуть на попятную от своего раз принятого решения? Извеков положил про себя выжидать еще пять минут — что будет? — и посмотрел на часы. Шостак мгновенно ожил, приметил его движение.

— Тревожишься? — с участливой издевочкой спросил он.

— Нет, — спокойно ответил Извеков, — только смотрю, куда девалась у тебя лесная храбрость? Раз твой собор преподобный постановил сдаться, чего же ты мямлишь?

— Ты не промах, начальник, — ухмыльнулся Шостак.

Вдруг почти шепотом, но очень ясно и строго он спросил:

— Что ты давеча, в лесу, сказал про красавицу? Моя жива?

— Жива. Сдержишь слово до конца, жива и останется.

— А что конец?

— Сейчас сложишь оружие, а завтра — в сельсовет с повинной.

— Это не конец. Это кончик, — пробормотал Шостак. Губа его в усиках дрогнула, скривилась. Помедли, он отпил глоток из стакана. Лицо его сморщилось, но он пересклял отращение, поманил пальцем своего подручного, сидевшего от него слева. Тот перегнулся через стол. — Угони их, — велел Шостак.

Парень встал, приподнял полу своего солдатского френча, вынул из коротких ножен на поясе ремешек финку, обушком ее звонко постучал в пустую четверть. Люди не спеша стихли.

— Атаман говорить будет! — угрюмо объявил парень.

Извеков видел, как Шостак тучил неуемными пальцами на коленях, потом сжал кулаки, уткнул их в край столешницы, с трудом поднялся.

— Скажу вам это слово, братцы, и нет больше моей воли над вами — исполняю свое полномочье. Пора. Сколько сокол в небе ни летай, а на землю сядет. Не просили мы крестить нас в кровь, да уж семь лет, как в купель нас окунали. Коркой похрыпсы сукровичной с головы до пят. Смерти не страшимся, да кто ее ищет? Осудят нас или помилюют — что было, того не переделаешь. В войну всяк по правду трубит, да только верх берет сила. Я тоже свою совесть не заспал, — как хотят, пускай обо мне думают. Не на разбой вас вербовал. Сами как понимали, так поступали. За веру вашу кланяюсь вам, а в чем провинен — отпустите.

Он поклонился, едва не тронул стол головой. Никто не шелохнулся — сидели, стояли бессловесно, и у всех опущены были глаза. Шостак окинул избу пыльным взглядом, не встретил в ответ ни одного прямого взгляда и тоже опустил воспаленные веки. Негромко зател припечатал кулак к столу, задел и подхватил стакан — не дал опрокинуться, только плеснул мутным вином на выскобленные добела доски. Распрямился, немного повысил голос:

— Слушай, ребята, мой последний приказ!

Он сухо закашлял, скулы его потемнели, кадык челноком скользнул под подбородок, опустился. Он напряг дыхание.

— Приступить к сдаче нашего оружия Советской власти!

В изба по-прежнему не двинулся ни один человек.

Шостак ногой толкнул колени Извекова, молча протиснулся между ним и столом, подступил к людям у печи, развел их на стороны руками.

— Складывай, ребята, в порядке! Отнятое, холодное. Огнеприлас. Полностью. Приступай!

Он расстегнул пояс, стащил с него свой браунинг в кобура, бросил на пол. Достал из кармана два полных обоймы, нагнувшись, положил их рядом. Долго не мог, подпоясываясь, попасть концом ремня в пряжку. Крикнул обрывисто:

— Спета песня! Нет атамана!

Попятился и сел не на прежнее место, а на край лавки, спиной к Извекову. Вытер ладонью лоб, сплел пальцы рук, опустил их низко меж колен.

Трудная минута прошла в оцепенении, пока не поднялся первым из-за стола малорослый, с виду старший по годам, уже с седойной мужичонок. Подойдя к печке, он аккуратно поместил на полу, рядом с браунингом Шостака, свой дробовик, скинул через голову замызганный парусиновый подсером с патронами, сказал скребучим голоском:

— Крепись картерсом, давши слово-то, братцы мои! Вон куда линия поворачивается. Не как бабка загадала, а как карта вынулась.

Всех будто расковала немудреная прибаутка — люди задвигались, стали решительнее выходить один за другим и кто кидать оружие злобно, кто класть его примиренно. Быстро — со звяканьем и сталь-

ным скрежетом стволов, с грохотом березовых прикладов, со скрипом и хлястом ремней — выростала нестройная куча винтовок, пистолетов, шашек, сабель. Двое милиционеров по знаку Извекова протиснулись толчеей в горницу, стали у наваленного оружия на караул.

Последним снял свой маузер в деревянной кобура подручный Шостак и, отойдя, хотел замешаться среди людей, но Извеков громко позвал его:

— Эй, что же финку не сдал? Приберечь думаешь!

Парень обернулся, отстегнул нож от пояса и с размаху кинул на стол, Извекову.

— Подавись! — выжал он сквозь зубы ненавистно.

Извеков не дотронулся до ножа.

— Возьми, положи куда следует! — сурово сказал он.

Парня словно кто-то толкнул из стороны в сторону. Качаясь, он подошел к столу, взял нож. Секунду глядел на Извекова сощурило, потом распахнул по-бычьему недвижимо, дымкой замутневшие глаза и тяжело шагнул к нему.

Извеков вырвал из-за пазухи наган. В этот момент вспрыгнул и всем телом загородил его от парня Шостак.

— Пули захотел, дуралей! — крикнул он.

Ближний милиционер оттащил парня за руку, выбил из его пальцев нож.

Извеков встал, спрятал наган. Оглядывая людей, он — уже полный хозяин — спросил:

— Ни у кого не осталось оружия? Добром не зачтется, если кто не сдал.

Он повременил, еще раз озирая всю горницу.

— Теперь слушайте меня. Я знал, у вас хватит соображения. Сдаваться вам было не миновать. И не потому, что испугались. Вы смельчаки не хуже, чем головорезы. Испугались вы — белых, а не красных. Красные мужиков шомполами не драли. А вы — мужики и хорошо знаете, что вас всех перепорют, дайте только себя оседлать помещику. Вы думали, уйдете от белоохранцев, значит, уйдете и от помещиков. А нет! Кулак — тот же помещик, разве что посмекалистее. За него эсеровская колокольня трезвонила. Против чего вы дрались? Против хлебной развратки. А у кого хлеб? Кулацкие амбары-то ползутые ваших. Да и времена теперь другие. Белых мы разбили. Сибирь, Украина, Кубань стали советскими. Нужды в хлебной развратке нет. Она отменена. Колокольня эсеров с вашим эснером Антоновым рухнула. Чем нынче подманивают вас кулаки? За что вам драться с большевиками?

Он остановился. Исподлобья горящие взоры людей взыскательно ждали, что дальше, и он чувствовал, что в безмолвии ожидания люди напрягли головы уже не той думой, с которой прежде слушали своего

Медленно подняв руку, Извеков выпрямил ее, оттопырил и словно бы возмиз указательный палец в кучу оружия на полу.

— Вы побросали свои самострелы к ногам Советской власти, потому что ноги ее твердо стоят на земле. И потому что знаете, что огнем да ножом ничего, кроме преступления, не достигнете. Вас подучивали не признавать большевиков. А что вышло? Не признавали большевиков помы с архиереями. Да нынче вон в Сибири за Советы молебны служат. С похмелья, видно, после колчаковцев. Чадам своим возвещают нелицемерную покорность предающей власти, «яже есть», — говорят по алтарю, — от бога. Ну, если рабочий и крестьянин помы в ряд со своим богом ставят, мы мешать молебнам не будем. Не признавали нас министры Антанты. Да как пришлось убраться из России восвояси всему разношерстному иностранным воякам с кораблями, пушками, танками, так и Антанта заговорила с нами по-новому. Тихоладно торгуют нынче с Советами и Англия, и Германия, и все восточные соседи. Денежки-то манят! Заморский купец тоже, наверно, возносит моления ко господу, да уже не о победе над нашей революцией, а, поди, о преуспевании своих контор в сделках с Красной Россией.

Что-то будто придержало Извекова — он отвел глаза к окну. День давно разгулялся, сиял синевой сентября, и ветер разносил над крышами редкие стайки первых золоченых березовых листьев.

— С великой Красной Россией! — вдруг тише договорил Извеков и продолжал по-прежнему: — Что же остается делать вам, бандитам, во зеленом во лесу, по оврагам да буеракам? Не признавать победивших большевиков? Становиться к стенке и душу отдавать за разгромленную контрреволюцию? Нет, на такую дурь вас больше никто не подбоьет. Потому что шкурятину-то вам пришли бандитскую, а мясо ваше, с мозгами и мозгами вместе, осталось у вас крестьянское. Глаза острые, сметка выкладистая, рассчитали вы теперь верно: куда денешься, если не выйдешь на улицу да не поклонись всему честному народу! Народ-то ведь большевиков признал еще в Октябре. И вышел победителем. Счастье ваше, что повинились перед ним. Не сносить бы вам головы... Вон ты (Извеков кинул), ты говоришь: карта вынулась не та, некую бабка загадала. Вольно слушать бабок. По ворожеям ходить — до острога доворожиться. Тебе бы сперва умом раскинуть...

— Дозвольте! — перебивая, вскинулся седоватый мужичонок и даже прискочил. — Дозвольте, ваше... товарищское начальство!

— Ну?

— Жалательно знать, к примеру, как располагает Советская власть по случаю летошней засухи? Народ голодовать начал, а зима, между прочим, еще и на пятки не наступила.

Мужичонку было тесно: он не то стоял, не то сидел, зажатый соседями по лавке. Голову держал он набочок, будто тянулся заглянуть в неудобную маленькую щель, и ладонью прижимая бороденку к губам. На него сразу обернулись с любопытством. Видно стало, что в банде был он вроде школьного озорника.

— А ты с голодом думал своим ржавым дробовиком побороться? — гневно спросил Извеков. — Вдвойне, втройне работать заставишь, чтобы одолеть народное бедствие!





— Да уж как пить дать, не иначе, — поубавил прыти вопрошатель, но опять заглянул в заманчивую щелку. — Еще, будьте добреньки, скажите нам разъяснение: прощенные мы теперь, или бы выклянчить надо отпущенье-то? И, опять же, у которой такой дистанции просить?

— Повторять не буду. Закон вы знаете, — ответил Извеков. — Я свое военное дело выполнил. Допивайте, что на столе, да кто из ближних деревень — ступайте по домам, мойтесь в банях, отсыпайтесь. Кто из дальних — бани вам тут вытопят. Завтра ровно в полдень явиться всем в сельсовет. Да чтобы без обмана! Не то будет худо...

Так закончила свои дни шайка Ивана Шостака.

Последний час в избе Воронкина прошел громко. Ловко, по-артельному разобрали накромянные куски баранины, разлили расставные чарки, лихо загорлали песни. Сам Воронкин то подтягивал певцам, то плакал, то подлещивался к милиционерам, допытываясь потихоньку, вышел ли он из опасной игры целым, а свою роль в игре выставлял заслугой.

Извеков в тот же день повез Ивана Шостака в сельсовет. Сидя рядом в телеге, они почти всю дорогу не проронили ни слова. Только на виду села Шостак спросил:

— Ты мне свидание устроишь... с кралей моей?

— Увидишь ее на первой очной ставке.

— Мне бы в ее очи окунуться, — вздохнул Шостак, — а все равно, в каком месте. Хоть на курином наместе.

Он засмеялся, но оборвал себя, нахмурился, сказал обиженно:

— Кабы не я, полоснул бы тебя финкой мой порученец. Я тебе жизнь спас. Должен понимать!

— Проценты с меня хочешь содрать? Не удастся, — невозмутимо отговорился Извеков.

— Черт тебя родил, бесчувственного! — буркнул Шостак.

Извеков лишь улыбнулся. Они больше не говорили. Уже назавтра, когда Извеков сдавал его Новожилову, Шостак сказал на прощание:

— Ты сдержал слово, пустил моих ребят и родным на побывку. Не трусил. Я тоже своему слову крепок. Так вот заметь: решетки мне не помеха, через месяц я из тюрьмы уйду.

Слух о поимке и сдаче банды без единого выстрела облетел скоро весь уезд. Начальника милиции узнали по имени, и на первых порах загорелось что-то вроде табы, где Извекову быть дальше — возвратиться в армию или оставаться на новом посту. Армия, конечно, перетянула.

Отсюда пошла его дружба с Новожиловым. Расставаясь, они проговорили вечер один на один и узнали друг о друге все, чем наполнено было первое их десятилетие пребывания в рядах большевиков. Новожилов сказал тогда, сжимая руку Извекова:

— Теперь у меня на свете два человека, которым верю я совсем одинаково. Первый — это я, второй — ты.

Много позже, случайно, узнал Кирилл, что и правда Иван Шостак угрозу свою исполнил, бежав из заключения и увезя с собой конвойного, который водил его на допрос. Как распорядилась с ним потом судьба, — об этом Кириллу слышать не довелось.



В. ПОНОМАРЕВ, А. УЗЛЯН

Давайте поедемте с нами по деревням Толочинского района Белоруссии. Правда, машина наша будет не совсем обычна. Это автолавка, которая колесит по этим дорогам уже третий год.

«Хозяин» ее — Александр Николаевич Маркианович, или, как его называют покупатели, просто Саша. Он не только продавец, но и шофер. И сейчас перед выездом деловито осматривает машину. Осталось только протереть стекло — и в путь...

Мы едем в деревню Катужено. Но первая остановка еще в дороге. Колхозник Иван Хворостухин остановил машину.

— Саша, мой заказ выполнил?

— А как же, заезжай в деревню!

— Катужено. Не успел Саша разложить свой товар, открыть прилавок, как к автолавке уже спешат люди.

Ребятишки, конечно, первые. Потом появляются взрослые. Саша знает: ох, как разборчивы сейчас стали девушки: если платье, — так подавай такого

Гармонь хороша!

# Лавка в пути

Саша Маркианович принимает новые заказы



— Вот как надо обращаться с этой машиной, — учит Саша покупательницу

Хорошо ли вас обслуживают?

фасона, чтобы не отстать от модниц Минска и Москвы.

Саша много запросов просто предал. Он знает, кто готовится к свадьбе, к новоселью, кто ждет ребенка, и заранее запасся нужными товарами. Сложнее обстоит дело, когда заходит речь о дефицитных товарах. Тут в первую очередь обслуживаются члены потребительского союза. Это их уставная привилегия. У толочинских колхозников большим спросом пользуются, например, швейные электрические машины. Именно такую машину Подольского завода заказывала пайщица потребительского союза Мария Ивановна Панура. Сегодня Маркианович рад сообщить: «Ваш заказ выполнен!» Вручая покупку, Саша учит: «Вот как надо обращаться с этой машиной»

Шестидесятилетний Александр Филиппович Разухабов попросил соломенную шляпу. Односель-





В дороге...

— Готовь сам летом, а телегу зимой! — отшучивается Александр Филиппович.

Николай Скуратов поинтересовался новой гармонью. Растянул меха, а девушки запели частушки. Сколько теперь петь этой гармоньке — на свадьбах, на праздниках урожая!

Поккупатели расходятся, а в Сашиней тетрадке появляются новые заказы. Завывала по ляду Ефросинья Игнатьевна Скуратова просит для дочки хороший шерстяной костюм, а для сына — летнее и зимнее пальто.

— Только покрасивее и получше, а цене не стесняйся, — добавляет она.

— И снова лавка в дороге. Деревня за деревней: Канпельчицы, Поречье... Не заметили, как начало темнеть. Вскоре вернулись в Толочни. Сколько же натрговала Саша за день? Оказалось, больше семи тысяч рублей.

Саша Маркианович успевает обслуживать столько же покупателей, сколько выпадает на пять продавцов стационарных лавок и ларьков. Вот и получается, что заготовка очень удобна для населения и выгодна для торговых организаций. Право, жаль, что таких лавок у нас еще мало.

— А идет мне эта шляпа?



Ревятишкин как всегда первый

Протереть стекло — и в путь



# Новая встреча с Альбером Марке

Павел КРАВЧЕНКО



Любители живописи в нашей стране хорошо знают картины французского художника Альбера Марке. И в собрании Музея имени А. С. Пушкина в Москве и в Ленинградском Эрмитаже зрители всегда подолгу любовались этими ясными, по-особенному свежими пейзажами, пронизанными светом и тревожной радостью. И вот перед нами другие картины Марке. В залах его выставки всегда много народа. Это новая встреча с французским художником, знакомым и будто бы незнакомым... Ведь мы знали лишь ранние его работы, написанные до 1920 года, а здесь впервые видим полотна и акварели двадцатых, тридцатых и сороковых годов!

Выставку организовали общества «Франция — СССР» и «СССР — Франция». Вдова художника госпожа Марсель Марке предоставила для нее свое личное собрание произведений покойного художника.

Честно говоря, на выставку заходишь с чувством некоторого беспокойства. Не изменился ли за последние три десятка лет своей жизни художник? Не сник ли он, не изверился ли в жизни? Не поддался ли «привычной» надломленности и отчаянию — всему тому, чем за последние годы отмечены столь многие работы его французских коллег?

...Сверкающий «Порт Гавр». Свежий ветерок, легкий пирс, многолюдье. На воде — паруса, а чуть подале, в легкой дымке, — кра-

ны, краны... И море. Альбер Марке всю жизнь любил писать воду: реки, заливы, портовые картины.

До сих пор мы знали главным образом его парижские пейзажи, многолюдные берега Сены, порт Гонфлер, гавань в Ментоне. Мы не знали его марсельских работ, алжирских и тунисских его картин, не имели представления и о полотнах «Ле-Фреттского» периода. И вот ослепительный «Вид на Алжир со стороны мола», где будто из самой воды поднимается этот старинный светло-розовый город, как бы рожденный из моря. Бывает у Марке такая яркая Африка, отмеченная нестерпимым зноем, как в картине «Арабская женщина в Сиди-Бу-Саид», что смотришь на нее, и кажется: голова кружится, — а иногда Африка предстает неожиданно туманной, немного мрачноватой, как в картине «Порт Алжира в тумане».

И все снова и снова пейзажи Франции. «Город Булонь-сюр-мер». В спокойствии этой картины вдруг врывается светлый, пылающий перевозчик, а позади — зеленая вода, и за ней встает в пегмом марева город. Марке хочет обесцветить город, но не может этого сделать: яркие красные крыши все так же озорно поблескивают над водой... Нет, краски Марке не утратили своей свежести!

Удивительной ясности картина «Луар»! Луара здесь, собственно, почти и не видно. Он там, за рекой, за мостом и зеленью. Над виднеющимися крышами Луара лишь бегут по небу беспокойно-радостные, быстрые облака. «Сад в Поркеролле» — картина такой внутренней глубокой лиричности, что от нее уходить не хочется. «Новый мост под дождем». На репродукции трудно передать впечатление от подлинника — суровые краски зеленовато-желтого города в дождь. На заднем плане встают сиреневые дома на тревожном фоне неба. Это можно один раз увидеть в природе или на картине Марке.

Перед небольшой картиной «Мольберт и полосатая штора» зрители стоят подолгу. Краски на этом полотне достигли такой силы, что, кажется, уже не краски, а настоящее солнце ярко светит сквозь эту штору! Фокус! Нет, не фокус — щедрая радость художника.

Незадолго до смерти Марке написал картину «Новый мост в ту-

мане». Она тоже экспонирована на выставке. В год своей смерти Марке (он умер в июне 1947 года) написал восемь работ. Семидесятидвулетний художник, усталый и больной, часами просиживал у окна, чтобы еще раз по-новому запечатлеть любимый город. И последние его полотна полны все такой же огромной жизнеутверждающей силой, как и прежде...

В номере гостиницы мы беседуем с госпожой Марсель Марке, вдовой художника.

— Вы, конечно, знаете, — говорит она, — что Марке с большой симпатией относился к Советскому Союзу, к вашему народу, вашему новому строю... Видите ли, детство и юность были у него очень тяжелыми. Несмотря на всю самоотверженность его матери, не жалевшей ничего для помощи сыну, он все-таки не расставался с нуждой в течение всей своей молодости. Достаточно сказать, что, когда он уже учился в школе изящных искусств и какой-то проворный алаш украл у Альбера пальто, ему пришлось два года трудиться, чтобы выкормить средства на покупку нового... Дело не в пальто, конечно, и не в ловкости алаша. Внимательно приглядываясь к окружающей жизни, Марке возненавидел нищету и мечтал о таком устройстве, когда стали бы невозможными привилегии одних слоев общества за счет других. Именно поэтому он с таким сочувствием говорил всегда о вашей стране.

В 1934 году, — рассказывает госпожа Марке, — мы с мужем побывали в Советском Союзе. Нас, туристов, было тогда около ста человек. Были и скептики, были просто любопытные, и были люди, симпатизирующие нам. Мы «стояли», конечно, в последней группе. А когда сошли с судна на берег, то нас просто покорили ваши музеи, города и люди. Марке был особенно тронут тем, как встретили его советские художники и любители живописи. Он был очень взволнован. «Я знал, — говорил он, — какой здесь героический народ, но не знал, какой он замечательный, простой и сердечный». Он влюбился в строгую красоту Ленинграда, в орнамент московских улиц, расходящихся веером на все стороны света, в пейзажи Харькова, Ростова, Тбилиси, Батуми... Мы приобрели здесь много друзей. Альбер Марке решил обязательно приехать сюда еще раз, чтобы написать пейзажи Ленинграда, Москвы.

Помешала война. Марке всем сердцем ненавидел фашизм. Он

был в числе тех художников, ученых и писателей, подписи которых стояли под антифашистскими заявлениями и протестами. Перед тем, как наци вошли в Париж, мы переехали на юг, в местечко Серэ у Перпиньяна. А потом в сентябре 1940 года мы переехали в Алжир, где и жили до мая 1945 года. Марке ни минуты не сомневался в том, что Советская Армия разгромит полчища гитлеровских бандитов. В Алжире мы постоянно слушали московские передачи на французском языке...

Мы попросили госпожу Марке рассказать о взглядах художника на искусство. Кстати, какие из своих картин особенно нравились самому Альберу Марке?

— На этот вопрос ответить трудно. — Марсель Марке энергично проводит рукой по столу. — Пожалуй, больше всего Альберу нравились те картины, которые ему еще предстояло создать. Что же касается его взглядов на искусство, то они были достаточно определенными. Изображать подлинную жизнь во всех ее проявлениях, не замыкаясь ни в какие «башни», был его основной девиз. Еще когда он учился у Гюстава Моро, он больше всего любил рисовать людей в движении, на улице. Часто он отрывал своих товарищей от мольбертов, обнимал их за плечи и требовал: «А ну, на улицу, на улицу! Пойдем поближе к жизни!» Жизни он и остался верен до самой последней своей картины.

«Теоретизировать» он вообще не любил, — добавляет с улыбкой госпожа Марке. — Вот сейчас одновременно с вашей выставкой в Москве открыта выставка Альбера и в городах Соединенных Штатов: она побывала уже в Нью-Йорке, в Чикаго. Сейчас эта выставка в Цинциннати. К сожалению, в Америке, по-видимому, мало знакомы с картинами Марке. И знаете, почему? Думаю, потому, что там успеху художника должна предшествовать широкая реклама — «паблисити». А Марке, будучи человеком весьма скромным, чурался любого «паблисити» и публично с речами никогда не выступал. За всю свою жизнь он только один раз согласился принять журналиста. Впрочем, и этот журналист остался очень недоволен беседой, потому что Альбер почти все время молчал и лишь очень односложно отвечал на три-четыре вопроса, сообщая год рождения и несколько дат своей жизни. Когда же после этого приходили другие, он обычно говорил мне: «Передай ему, что я уже все рассказал тому, первому. Пусть прочтает и перепишет все, что там написано».

«Я не создам для того, чтобы разговаривать о живописи, — говорил он. — Я рисую и пишу. Если кто-нибудь не понял моей картины — значит в этом либо моя вина, либо вина того, кто не понял, но добавь к моей картине мне, право, больше нечего».

На прощание мы попросили Марсель Марке написать нам в блокнот несколько строк для читателя «Огонька». Она написала:

«Я очень тронута успехом выставки произведений Марке в Музее Пушкина и оказанным мне приемом. Я увожу с собой прекрасные воспоминания о моем пребывании в Советском Союзе и надеюсь вскоре посетить его снова.

Марсель Марке».

Марсель Марке (слева) среди посетителей выставки Альбера Марке в Музее имени А. С. Пушкина.





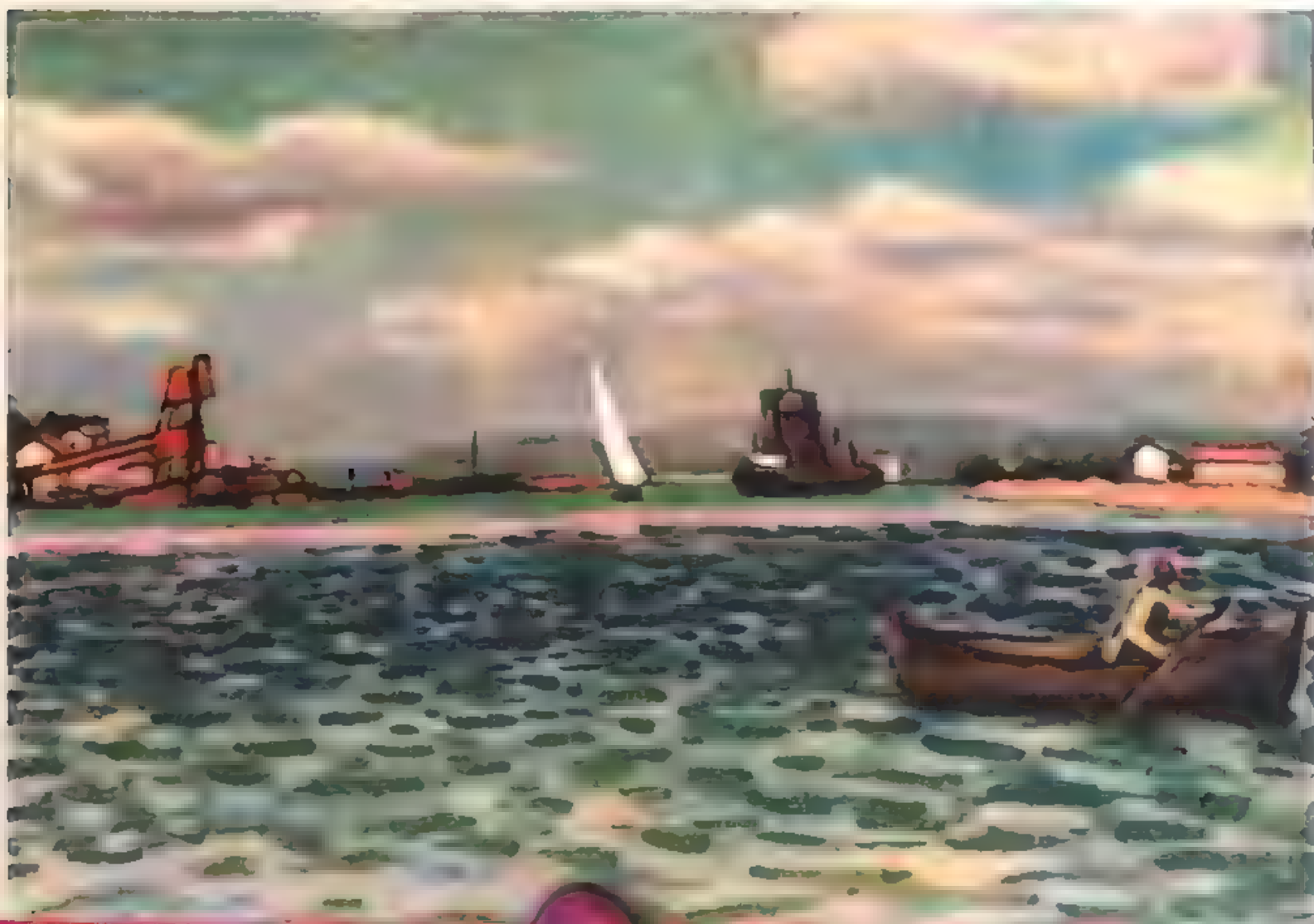


Альбер Марке (1875—1947). ПОРТ ГАВР. 1934 год.



Альбер Марке. НОВЫЙ МОСТ ПОД ДОЖДЕМ. ПАРИЖ. 1935 год.

ПОРТ В ЛА ГУЛЕТТ. ТУНИС. 1926 год.





# Красный день

Виктор РЕВУНОВ

Рисунок Л. ПИНКИСЕВИЧА.

XI

Снова я на переправе, куда приехал на попутной машине. Машина повернула влево, на Озёры, а я остался перед дорогой, по которой ещё недавно шел сюда, ничего не зная. Катя, глядел с надеждой с этого берега в даль за рекой... Там я был, там, знаю, лежит неподвижно суровый камень.

Горсть земли с прахом Кати увозил я с собой...

— А, старый знакомый! — сказал Мильгунов, проходя мимо меня; он только что переезжал на ту сторону машины. Был он в мокрой рубашке, в мокрой, завернутых в босых ногах сатиновых шнурках, к которым прилипла осока. — Как добрался тогда? — спросил он из сторожки.

Параодевшись, Мильгунов сел на порог, снял с гвоздя на стене балалайку и, наклонив голову, принялся настраивать, леребировать струны.

Я сел возле него на старую покрывку от машины. Спать мне некуда. Поезд на Москву будет лишь вечером, да и кто ждет меня дома!

Задумавшись, глядел я за реку — там люди, с которыми сдружился. Когда я снова увижу их? Пройдет, верно, эта грусть еще не остывшего прощания, и я позабуду про них.

Целую неделю пробыл я в Желанье: чего-то все ждал, какую-то радостную весть, чуда. Но так ничего и не случилось.

Перед отъездом я вновь прошел по Катиньким местам; показала мне их Евдокия Ивановна. Был на реке за деревней, на косе, песок которой чуть просвечивал под темной водой с листьями кувшинков.

Постоял я тогда за чуланом под березой. Катя ее посадила. Выкопала в лесу побег с корнем и арыла тут. Теперь береза выше чулана. То зашелестит с мягким всплеском листья на ее поникших ветках, то утихнут, и тогда слышно, как зудят пчелы: мандит их сюда в жаркий день сладкая испарина на листьях.

Попрощался с хозяевами. Евдокия Ивановна поцеловала меня.

— За Катюшу, родимый. Да не скучай.

— Погодавать когда приезжайте, всегда рады будем, — сказал Андрей Петрович, и, когда машина тронулась, увидел я в его глазах и в глазах Евдокии Ивановны слезы...

И вот Катя снова звала меня в ту даль. Неужели мертвые так зовут!

— Ты, миленок, не балуй,  
При народе не целуй.  
Целуй, целуй в улочке,  
В темном переулочке, —

подыгрывая себе, негромко пропел Мильгунов.

— Ишь ты, лешнее!.. А я тогда горевал за тебя, малый. Только ты ушел — гудит машина из геологоразведки. Корреспондент и уехал. Соображение его в газете не читал!

Мильгунов принес из сторожки газету, от которой с крал осторожно оторвал бумажки на сигарку.

— Говорят, тут один человек ходит, лобашу

свою ищет. На войне она потерялась где-то в наших краях. Вот почитай, — сказал он и снова с ласковой мягкостью зазвонил по струнам:

— Дайте лодочку-моторочку,  
Серебряно весло.  
У меня за реку-матушку  
Платочек унесло... Эх!

Горе его, что забыть он ее не может, — проговорил он. — Если правду это говорят. А то ведь и прискажут. — Мильгунов тихо наигрывал на своей балалайке, а я читал рассказ.

Не стану я пересказывать его содержание: все здесь было похоже на то, как я приехал узнать про Катю. Так она и в рассказе звалась — Катя. Не иначе, как Евдокия Ивановна рассказала все автору: ведь он был в Желанье.

Я лишь впишу сюда самый конец рассказа. «Он стоял возле ее могилы, опустил голову. «Всюду я искал тебя. Наконец-то нашел. Спи, родная. Ты в бою недаром жизнь свою отдала, — подумал он и посмотрел на светлое здание школы среди сада».

— Название-то какое — «Любовь»? — сказал Мильгунов. — Хорош! Да только уж очень скоро ободрится он, даже тоска меня забрала, ей-богу.

— Почему же тоска? — спросил я.

Мильгунов глухо положил руку на струны. — Почему тоска? Пример-то какой подавать! Такими примерами и человека исказит недолго: зачерствеет он, жалости в нем не останется. «Спи, мама, недаром ты жизнь прожила», — подумает он и на новые свои штиблеты посмотрит. Так-то выходит?

Без жалости нельзя. Я раз, помню, пришел домой выпивши, и крепко, что через порог никак не переваляю. Сыночек-то за руку меня взяв: глупый, помочь хотел. Я как переступил — и на ножку ему. Побежал он от меня, ковыляя, что хроменький. Так меня и обожгла жалость. Схватил я его. «Прости, сынок. Прости, нечаянно я!»

После того раза на вино глядеть не могу, а то заливал. Рухну на толчан в этой вот сторожке. Трясут меня: перевоз давай! А с того берега и не дозовутся. Дома жена бранит, плачет. Какая ей со мной жизнь!

Пить прекратил категорически. Сам теперь не надялюсь, как живем. Баба помолодела, захорошела, посмотрит искоса на тебя — играй, балуйся с ней. Гляжу я на нее и думаю: такую тебя обижал, за дверь выталкивал, признаюсь, на мороз даже, бывало. Она в войну ждала, мучилась, а ты, змей, думаю, чуть ее на бутылку с поганью не променял.

Он свернул сигарку и подал мне кисет с вышитой на нем красной чайкой.

Я закурил и посмотрел на чайку. Она, казалось, летела из последних сил на своих длинных, красивых, будто надломленных крыльях.

— Долгое время, уважаемый, обо мне и слуху-то не было. Угодил я в сорок первом году в плен. Была такая осечка. Да чего на войне не бывает! В окопах врукопашную сошлись. Теснота — не размахнешься, сплелись и свои и чужие, давим друг друга, дышать нечем. Росту-то я высокого, только распрямился, это меня и огрел по голове.

Поднялся я, а кругом немцы, все в грязи, кровь сплевывают... Вот он и плен.

Привели нас в сарай, а какую-то деревню. Тут еще человек сорок наших было. Я еле дошел, спасибо одному товарищу: подмог.

Повалился я на землю в этом сарае. В голове знои, голоса разные кличут, и так вот нехорошо, тошно, что места себе не найду.

День просидели мы, ночь, а утром выстроили нас перед сараем. Кто чуть стоял, раненых, тех за дорогу оттолкнули. Остальных погнали нас, голубчиков. Не на запад, а в нашу сторону. Сперва по большаку шли, потом на проселок свернули.

Как свернули на проселок, тут из ручья попить разрешили. Что было! Одно слово — водичка. Плакали даже люди: так изжались. Пью и не напьюсь, словно бы холодный воздух глотаю.

Присели и немцы в тени — разморились: жара несусветная.

Кому вода, кому воля, где все твоё. Ушли двое. Есть же ребята живые. От ручья — да за деревня. Немцы стрелять, а их и след про-

Обомлело у меня сердце: мне бы с ними! Вот как я жалел после, что проморгал такой момент!

Пригнали нас на поляну в лесу. Тут уже люди работали, пленные, как и мы. Котлован рыли. Нас поставили вести просеку на большак.

Поработали мы недели две. Одна баланды: на кружку воды ложка муки, — долго разве протянешь! А тут еще комары последнюю кровь сосут. Которая! Кору али, шишки молоденькие на елках. От поноса валились люди. Вонь, зараза кругом, жижка кровавая.

Кто не ест, тех немцы пристреливали. Проволокут мимо тебя человека в лохмотьях, жижой еще. Знает он, куда волокут. Через минуту над ним уж земля притаптывают. Видел я, как в барак, где охрана была, девушку провели. Верно, где-то рядом поймали.

«Эх, — думаю, — за сто верст это проклятое место обошел бы!»

Окончательно я погибать стал. Чуть хожу и не верю уж, что это я, словно бы это кто другой.

Посчастливилось мне, скажу. Дажурить мне попало на кухню. Солдат там один постоянно за повара был. Девушку ту, пойманную, к нему определили.

Стали мы пить с ней дрова. Едва-то я норму напил, сел на полочку. Гляжу на траву, а трава черная. Сунула мне девушка что-то теплое в руку.

«Ешь!»

Пожевал я, и вот, дорогой, чувю, как во рту клейкое с мясцем разлилось... Хлеб! Гляннул, а руке у меня лепешка, а золе испечен, и угли в этой лепешке. Сроду я такого вкусного хлеба не ел! Вот тебе и ржаное зерно — мушкетера ржаная! Не думал прежде, что такая в нем сила. Ожил я, воскрес.

Пошли мы за водой с этой девушкой. Катя ее звали.

— Катя! — поеторил я, как будто только и была не свете одна Катя.

— Да, Катя... Миланова. В Озёрах помнит ее, да и я не забыл... Пошли мы тогда с ней за водой. Немец сзади с автоматом. Идем, а кругом такая яркость от цветов, Гляннул я в орешники, а там и воздух-то от листьев зеленый.

«Кто ж вам такую власть надо мной дал, над моей жизнью? — думаю. — Это же моя жизнь, я ее хозяин, и все вокруг мое, проклятые!» Развернулся я, ведром в немца пустил. В грудь попал. Гляннул он наземь.

Я уж в орешниках. Оглянулся, а она, девушка, растерялась, стоит. Что ж, думаю, особое ей приглашение надо, а может, ей и при кухне ладно!

Кинулся по орешникам. Частый орешник. От пути он хорош, а бежать плохо. Не разбирал, конечно, месил все перед собой. На лужайку выбег. Перебежал лужайку — оглянулся опять: что с девочкой, неужели так и осталась? А она по краю лужайки бежит.

Обождал ее — секунду потерял, но зато вместе, вдвоем другое совсем дело: как подхлестнуло что, как все равно друг другу крылья мы дали, и только душа риском замирает, вроде бы ты с высоты оборвался.

Стрельба поднялась, тревога; вой от сирены



на весь лес. Жутко! А для них работа — человека изловить и на веревка повесить. За эту исправность и получку получают.

Вскочил из орешников — тут сразу река.

«Умеешь плавать?» — Катю спрашиваю.

Она без ответа ботинки снимает, поплыла. Я и свои ботинки в воду зашвырнул. Живым будем — босые дойдем, доплывем.

Плавала она хорошо. На бок как легла — и пошла загребать. Чуть я за ней поспевал, саженьками шлепаю, раз пять шлепну, а она с одного раза это же возьмет — режет воду. Безусловно, выучена к этому делу была.

Берег перед нами крутой, обрывом, нигде и выбраться. По корням лезли. Скользко, сил нет! Как человек за жизнь цепляется, что и неправдоподобно!

Взобрался, на живот лег, держусь за какой-то ствол, а ноги висят: поднять не могу. Она там еще внизу барахтается.

«Держись», — говорю я ей, — за мои ноги.

Выволоклись кое-как и пошли скорей от погони. Еще два раза реку после того переплывали: следы путали. Не знаю, как их запутали, а себя-то запутали так, в такую чащу зашли, что весь другой день выпутывались. Мху по колено, деревья поваленные.

Все ноги попоролки о корчи, о сучья.

Помню, вскрикнула Катя, на мох смотрит. Гадюка черная блещит, вьется — уползает.

«Не поцеловала?» — Катю спрашиваю.

«Не знаю», — отвечает.

«Смотри, а то дальше тебе и идти нечего. Такая насмерть целует».

Велел сесте ей, стал ноги ее смотреть: может, укус есть? Не разберешь: живого места нет: все содрано, кровоточит.

Пока я смотрел, заснула, гляжу. Ляжит боком на мху.

«Ладно, — думаю, — пусть поспит».

Ватку над ней надломил, чтоб тень ей была. Такая молоденькая, красивая, а на что себя тратит? На мучения. Ее на руках бы носить да радоваться, что она твоим рукам доверилась.

Застрашило меня, как гадюку вспомнил. Спит, не слышно, что и дышит.

Не заметил я, как от ее покоя и сам уснул возле нее.

Перед вечером это было, а проснулся, когда солнце пекло. Гляжу, Катя рядом в мочажине воду пьет. Льет вода из ее рук, такая сверкучая, а подошел — какой только твари нет в этой воде!..

«Как чувствуешь себя?» — спрашиваю Катю. Гадюка та меня беспокоила: на укусила ли?

«Хорошо», — отвечает.

Точно хорошо, даже повеселела девушка.

Приложился я к этой мочажине, попил досыта и нарочно этак со вкусом облизнулся. «Штук семь лягушек, — говорю, — проглотил».

Как она засмеется! А я дальше свое.

«Теперь, — говорю, — мне и питания не надо. Будут в животе плодиться, успевай только переваривай. Съеженье!»

Перестала смеяться, посмотрела на меня так задумчиво и говорит:

«Спасибо вам за удачу, что ушли».

«Тебе, — говорю, — за тот сердечный твой хлеб спасибо».

Голову она опустила.

«Мы ушли, а они там, в лагере, что с ними будет? Скажите, — говорит, — разве для таких вот мучений человек рожден? Ведь все хотят радости, а выходит так, что люди мучают друг друга, убивают. Почему? Уж не за эти ли радости?»

Неглупая девушка, а вижу, смута у нее в голове. Рассуждения, от которых толку чуть. «Нам где-нибудь своих бы найти, — думаю, — это дело было бы».

Еще день по лесу проплутали. Последние свои силенки истребили. Вот она и воля, скажи. Без куска хлеба и на волю пропадешь.

В болото какое-то залезли, унылое болото. Дерево обгорелое торчит, а под ним ястреб кружит, и вроде бы видит нас человек, и человек этот будто бы на той стороне в лесочке елки раздвинул и глядит на нас.

Блазниться, значит, мне стало.

Пролезли через это болото, вдруг слышим, летух кукарекинул. Знать, рядом деревня. Обрадовался я. Пошел разведать, что за деревня в этом лесу. Была бы удача. Некуда уж без удачи.

Катя возле болота в камышах осталась.

Понесла деревню — нет никакой деревни.

«Еще, — думаю, — чуть пройду да и назад».

Опасался — на чужих бы не наскочить. Присел, следов никаких, а как-то чужь человека в лесу. Чужая я: кто-то есть. Только хотел назад идти, повернул, ко мне и выходят двое с оружием.

«Руки вверх!» — командуют.

Кто такие? Схватил я корч. Дал мне кто-то сзади по шее так, что просветлел я уже в другом месте — перед шалашом.

Большой шалаш был и стол там врыт. На столе каравай хлеба и чугунок с картошкой. Что за люди?

Перед шалашом человек на лавке сидит, рука на перевязи, пальцы, видно, распухшие. Глаза черные, с блеском, злые.

«Кто такой?» — спрашивает он меня.

«А какая ты такая власть, чтоб меня спрашивать?» — говорю.

«Власть тут советская», — отвечает.

Упал я на траву, заплакал от радости и слова-то сказать не могу. Поняли меня, раз наша власть. Хлеба принесли, сахару кусок. Отложил это все, не до этого.

«Братцы, — говорю, — не один я, девушка со мной, из проклятого плена с ней идем».

Прошли на то место, где я Катю оставил, а ее нет. Только камыши по ее следу разнаты. Спустилась, видно, ушла. Так жалел, так жалел! Разве не досадно: ведь рядом со своими была — и ушла! Куда! Кругом лес, до ближайшей деревни пятнадцать верст, да и там немцы. Пропадет девушка.

Так я тогда в отряде оказался и партизанил до сорок третьего года, и в сорок третьем первая весточка про меня до дома пришла.

Сам только через три года домой завалился. Вот так, браток, меня ждать было, считай, шесть лет, а на войне, как на тонком ледку: того и гляди обломился... Жди!

Милюнов сложил кисет, сжал его в кулак, задумался; сурово смотрел он в землю.

— А что ж с Катей было? — спросил я.

— С Милановой! Что с ней случилось, даже не верится, что с ней потом случилось: в немецкой комендатуре служила.

## III

Я в Озерах, в доме Мизгунчиковой, у которой, как сказал мне Милюнов, когда-то квартировала Катя Миланова — Комендантша, так звали ее тут, в этом поселке с пыльной, немощеной улицей, с плетнями перед избами, крытыми где железом и шифером, а где и соломой в мшистой прозелени.

Беспредельная фантазия человеческая! Чего только иной раз не представишь себе! Даже чужую жизнь в самые ее откровенные минуты... Увидишь все, как наяву, да еще ярче, красивее, потому что сам хочешь, чтоб так было, хоть на самом-то деле и угрюм бывает

человек и беспомощен, озабоченно спешит он к своему счастью, не зная порой, что оно дано с ним, его счастье.

Вот и представил я, что после боя в Деврее Катя попала в плен, ее привели в лагерь, откуда она бежала с Мильгуновым и, оставшись потом одна, скрывалась в лесу, пока снова не схватили ее. Назвалась она из осторожности Милановой.

Катя хорошо говорила по-немецки, и могло случиться, что немцы предложили ей быть переводчицей. Она согласилась, конечно, чтоб при первой возможности уйти к своим.

Так думал я, когда ехал в Озёры к Мизгунчиковой. Не мог я смириться, что Катя нет.

Дом Мизгунчиковой у самой площади, большой, с прирубом, где в углу горит лампадка, озаряющая потемневшие ямки угонников в золоченых, будто огненных ризах; ладанной смолкой тут пахнет, усохшими травами: пучки трав висят на стенах.

День еще не погас, а в избе сумрачно, хочется спать, тело словно вянет в этом дурманящем тлении.

Мизгунчикова встретила меня ласковым словом и, узнав, млея от любопытства, что я о Милановой спрашиваюсь, закрыла дверь на задворки и окошки занавесила.

— Милочек, сынок ты мой ясенький, ой, голубь, жила, жила тутотко, в этих стенах, безбожная, что и рок ей вышел! Все он, господь бог, видит, да долго терпит. Не избежишь за грех свой. Послушай меня, старую, каленую. Не гневись, что не по-вашему говорю. Отступились от божеского, по своей все правде хотят жить, зато и ссоры и брань — галда на белом свете. Куда человеку от страшного суда деться! Да, знать, заслужил... А про Катю что, или слух какой прошел? — шепотом спросила она, и куда-то мимо меня скользнул взгляд круглых, с желтизной глаз на ее сером, обряженном лице.

Выждав, она перекрестилась торопливо.

— Молчу, молчу. Ай, янтарь ты мой, душа ясная, уж как было все, доподлинно расскажу! Люди на меня и навет всякий пушают: перед супостатом, мой, угоничала, зато и не теснили меня. Не теснили меня, что Катя тут жила. Служила она в их комендатуре.

Сперва у меня офицер один квартировал, а уж после него она эту половину снимала. Тихая такая была, иной раз словно и нет ее в избе. Сама и за водой бегала и дрова со мной пилила. А по несчастью захворала я — всю поясницу разболело, — она и лачь затопила, а не из деревянных была. Лекарство какое-то достала — вовнутрь и для растирания.

Привыкла я к ней. Признаться, и страшно без нее было, когда с комендантом она по делам уезжала. Два раза стучал кто-то, и один раз Катю спрашивали русские, а уж наши или из полиции какие — не знаю.

Комендант этот к ней расположение имел, сох по ее красоте. Завлекательная была девушка. Россиянкой он ее называл. Не русская, значит, а россиянка. Сам молодой еще был, высокий, лицо бледное-бледное, бальмы даже какие-то без цвету — водянистые, и волос жидкий, на пробор наглажен. Всегда же выбрит, все чистое на нем. Трубку журил, пахло от него табаком с ароматом заморским, что и теперь — сунушь в сундук — зазвонит в ушах: сдается мне тот аромат заморский, или на самом деле не выветрился еще тот воздух, по щелкам таится. Золото копил, собирал, даже в нижнее белье драгоценности прятал. Дал мне денщик рубашки его стирать. Одну выстирала. Выжимаю, да что-то под палец попало, зашито в кармане. Пощупала, на зуб нитку взяла, перекусила и вынаю... Что, янтарь ты мой, думаешь, я вынаю?.. Серьги чистого брильянта в руках моих так и горят. Бог ты мой, голову он мне отвергнет!

Катя дома была. Я к ней. Взяла она эти серьги и говорит:

«Зашей их... Случится, Матрена Ивановна, отдаст все свое золото за глоток воды».

Что правда, то правда.

«Или за сухарь какой, за час жизни все и отдаст».

Чего за жизнь не отдашь!

«И рад будет, что часок какой дали пожить, — говорит, — подышать, насладиться вольным воздухом, которым вот дышим и не замечаем, что дышим».

Во как отповедала! За дверь я глянула: не слышал ли кто?

«Ты, — говорю ей, — при ком другом так не скажи. Люди всякие есть. Теперь человека не узнаешь. Скажешь, а он донесет, прирет для похвалы; что и не говорила. Тебе петля, а ему чай с сахаром».

Сказала я просто, а, знать, истинная правда, что человека-то не узнаешь. Так и вышло с ней... Партизана она своей рукой убила, проклятая!

Вывели их троих — к петле были приговорены. Они вдруг да бежать рассчитали: лучше пуля, чем в петлю лезть. Стрельба поднялась, Катя выскочила с оружием. Двое через плетень махнули — ушли. Так посчастливилось: из-под петли да на волю! А третий свалился от ее пули.

Жив еще был. Подбежала она к нему. Он мог ей стал целовать, чтобы не убивала. А она ему в голову выстрелила. Пришла она вечером как все равно пьяная, на постель повалилась, под накидку полезла.

«Что, — говорит, — так забько мне!»

Глядеть я на нее не могла.

Заглушила ее мутная совесть. Вскочит ночью и стоит, стоит, слушает чего-то. А то на крыльцо выйдет, с тоски на дуну глядит, как волчица...

В избе что-то скрипнуло. Мизгунчикова перекрестилась, и снова раздался скрип.

— По слухам, — совсем шепотом заговорила она, — ребеночек у нее был — девочка, и будто девочка эта от коменданта... Чуешь? Сама-то скрылась, а он ждал ее до последнего дня, как власти ихней кончиться.

Погнали их. Зашел он сюда, карточку ее со стены взял, за шинель себе на грудь спрятал. Только идти собрался, а тут снаряд на дорогу упал. Затрещала моя изба, стекла посыпались. Он бежать — и как об притолоку саданется!.. Выскочил на улицу, в одной руке фуражка, в другой — платок, к голове его прикладывает. Спешит к машине и прихрамывает: видно, в ногу ему от того удара отдало.

А куда Катя скрылась, никто не знает. Как в прорубь оборвалась.

### XIII

После разговора с Мизгунчиковой мне стало ясно, что Миланова — это какая-то другая Катя... Другая, да ведь и она тоже жила среди нас, в школе училась, буквы выводила, руку друзьям подавала. И вот этой же рукой убила партизана. А почему он мог-то ей целовал, о пощаде просил? Это было странно. Уж не выдумка ли тут какая?

Но что я так встревожен, я даже чего-то боюсь! Нет, я не смею так думать о ней! Все кончилось там, в Деврее. Я ношу ее прах с собой.

Было уже поздно, когда я пришел в дом для приезжих — обыкновенную избу, в которой было с десяток коек. Я выпил с сахаром теплого кипятку из железной кружки и вышел на крыльцо. Было темно, в небе льдисто искрились звезды, вдали, в черноте, зияла огненно-красная полоса: там горел лес. Вышла дежурная, тетя Даша.

— Ай, звезд наросло!.. А там все горит.

— Это где же? — спросил я.

— А в Мархоткине.

Она села рядом на крыльцо.

— Да вроде бы против прежнего млеет зарево. Лес жалко. Какой лес! Там самые партизаны были в войну. Немцы туда и не лезли. А раз настырились, пошли. На другой день возвращаются чуть живые. Не сладили, так на ком зло выместить? На бабах. Вы, мужики, воевали, у вас оружие было, а мы что — с голыми руками, да и руки детскими спутаны.

А в тот раз, как они вернулись, немцы, ночью слышу стук. Муж у меня в партизанах был. Стучат — обомлела я, охолодела вся. Уведут в комендатуру, в подвал. Подолом не закроешься от них. Господи! Подожми к двери. «Кто?» — спрашиваю. И слышу шепот: «Уходите, тетя». Открываю дверь — нет никого. Да уж не блазн ли какой? Я было к соседям. Герасовы соседи у меня были. Захожу. Их тоже через дверь предупредили. Скрылись мы. А утром запылали наши избы, девять изб, да только там уж никого не было. Кто предупредил, не знаем. Мы ушли, а за нас, может, тот

человек казнь принял, и не знаем, кого полагать.

Тетя Даша ушла принять приезжего, а я долго еще сидел на крыльце. Зарево адали меркло, казалось отсюда: горит там фитиль с красневшимся, как сивозь закопченное стекло, огнем.

— А шепот тот, милок, как сейчас, слышу, — вернувшись, продолжала тетя Даша, — такой без страха шепот, и словно бы это девичий шепот был.

— Кто ж это мог быть? — спросил я.

— Бесследна она, никто ее никогда и в глаза не видел, а говорят, да, знать, придумка какаля-то, будто бы фамилия ее Максимова.

— Катя! — И я почуствовал, как в глазах моих горячо засверкал красный свет зарева. Тетя Даша посмотрела на меня и поднялась. — Милый, да никак знаешь что?

### XIV

Я ничего не ответил тогда тете Даше и не знал, что ей ответить: я еще должен был найти этот ответ.

Одну мысль подсказало мне сердце, и я поехал в Желанье. Там я взял у Евдокии Ивановны карточку Кати. Обратный путь — сорок верст на машине и десять пешком, и вот я у переправы. Переехал на ту сторону сам на лодке. Моросил дождик. Мильгунов был в сторожке, сидел перед раскрытой дверью, напильником натачивал зубцы — крючки для жерлиц.

— А я думал, ты в Москве давно. Садись! У нас тут живо закукуешь. Это еще дороги не развезло, а развезет, хоть прописывайся среди хвашки. Машины идут по сколько тонн — земля-матушка ползет.

Я достал карточку Кати, посмотрел на нее. Она глядела куда-то вдалеку с улыбкой на миллом, юном лице. Нижние веки ее были затенены ресницами; эти тени и плавный взмах длинных бровей как бы окрыляли пленяющую красоту ее глаз. Я протянул карточку Мильгунову. Тут, может, и была решающая минута. Он отложил зубцы, напильник и взял карточку. Я видел, как вздрогнула его рука.

— Ты где подобрал этот облик? — спросил он.

— Я любил эту девушку, я ищу ее.

— Миланову!

Я опустил голову. Кого я искал? К ногам своим упала карточка. Потом в сторожке потемнело на миг: это хозяин встал и вышел.

Тяжело было поднимать с земли эту карточку. Я обещал вернуть ее Евдокии Ивановне. Что я там скажу? Не буду я им ничего говорить: зачем огорчать их? А ведь какая была минута там, на крыльце в Озёрах, когда в случайном слове тети Даши сверкнуло имя — Максимова!.. Не Катя ли это моя? И вот явью стали прежние, горькие мои догадки: моя Катя — Миланова. Комендантша по-здешнему. Что теперь делать? Все и решилось. Из прошлого не выраешь проклятые дни.

Я достал с груди платок. В нем горсть земли, которую взял я из-под камня в Деврее. Думал, что земля с прахом ее ношу. Я вышел из сторожки, разорвал платок с землей. Земля посыпалась на сапоги, на зеленую, мокрую после дождя траву. Мильгунов сидел рядом на камне.

— Прощай, — сказал я ему.

Я пошел вниз, к переправе, где была лодка.

— Постой! — крикнул Мильгунов. Он нагнал меня. — Закурим на дорожку.

Мы сели возле лодки на бревно, лежавшее среди песка, и закурили.

— Да, рассказывал я тебе про наш побег с ней и не знал, что ты любил ее... Учился, что ли, вместе?

— Да.

— И так вот все помнил, искать приехал ее? Ждать горько тебе было, конечно. Лучше б ждать или так помнить, чем такой конец. История, брат.

— Не верится как-то, Мильгунов. Прости, что так зову.

— Что ж ты чертом, что ли, меня назвал — прощай!

— Не могла она стать такой.

— И я лепешку ту не забыл, помню. Но правду не выкопеш. Она нашего человека, партизана убила — Будакова Василия. Сперва



решила, а потом еще добавила. При людях было, люди видели.

— Партизан, а что ж он ей ноги целовал, о пощаде просил?

— Бабы наговорят, слушай! Ноги целовал! Грыз он ей ноги и перегрыз бы в такой горячке. Что ему оставалось, когда он уж с колен встать не мог!

Мильгунов бросил окурок и каблуком с хрустом вдавил его в песок.

— А что слышно о ней? — спросил я.

— Кто ее знает!

— Дочка, говорят, у нее была?

— Не слышал. Вот тут человек один есть. Он при немцах в Озерах служил. Спроси, может, что и скажет. Это тут, недалеко. А пока давай ко мне, чаю попьем, вместе и напрувимся, коли охота есть. У меня к нему тоже дело.

## XV

— Этот старшой у меня, Алексей, — сказал Мильгунов, когда вошли мы в его избу, где на полу у разостланного брезента с разложенными на нем какими-то гайками и винтами сидел парень.

— Двое у меня. Один все ломает, а другой ремонтирует, — пояснил Мильгунов. — На этот раз, вую, до швейной машинки дело дошло.

Алексей рукой, в которой сжимал отвертку, осторожно отбросил со лба волосы и взглянул на меня ярко-зелеными, как у отца, глазами. Показалось, где-то я видел его, — и вспомнил: в автобусе. Тот самый парень, который так честно рассказал про мучавшую его совесть. Вот где встретились! И он узнал меня, быстро поднялся, смутился, поставил табуретку передо мной.

Мильгунов вышел в сенцы щепать лучину для самовара; было слышно, как, отщепляясь, трещало сухое дерево.

— Как доехали тогда? — спросил меня Алексей. — А я раньше вышел — у базы. На попутной оттуда к нам быстрее... Помните, рассказывал я? Вы уж отцу не говорите, — добавил он шепотом. — Переживать будет.

Я видел, как тяжело ему было просить об этом, и сжал его руку.

— Я рад, что встретил тебя, Алеша.

Он улыбнулся, глаза его влажно заблестели, но точная какая-то мысль спугнула улыбку.

— Про себя я тогда рассказал, про свою совесть. А каково ему, Павлу Ивановичу? Не про обиду говорю, нет. А радость его за его добро, какое он сделал, тем случаем-то убил.

Вошел Мильгунов с лучиной, с самоваром, с трубой, которую он держал за дужку мизинцем.

— Дала эти свои, Алексей, бросай и на переправу — командовать.

— Я надолго не могу: вечером у меня вздра в район.

— Вечером и поедешь. Мы с товарищем скоро. Там в чуганке у меня рыба — пообедать. Хлеба только возьми.

Алексей накинуд на плечи ватник, сунул краюшку хлеба под локоть, свободной рукой снял ружье со стены — ватник его сполз и повис на одном плече.

Когда он вышел, я сказал:

— Хороший сын у тебя, Мильгунов.

— Теперь всякая возможность есть стать хорошим, за что и кровь боевую проливали.

Мильгунов разжег лучину в самоваре, углей насыпал и поставил трубу. Потом со вздохом опустился на колени и стал дуть снизу под жаровню.

— Баба у меня в поле, а этот паровоз только под ее руководством пары дает.

Он не заметил, как вошла женщина, раздумываясь, в белом, низко повязанном платке; у нее были серые большие веселые глаза.

— Так вот иной раз зачнешь самоварец поставить, — продолжал Мильгунов, — на коленях напозававшись перед ним, что штаны потом не отстирываются. Баба, конечно, в разность: перед какой такой, мол, вдовой молишься, что скоро голыми коленками будешь по всей деревне сверкать!

Женщина сняла платок с головы, повесила его у двери.

— И чего мелет! Ты, прежде чем самовар разводить, язык, что ль, к табуретке привязал бы, чтоб не мешался.

— А, Сергеевна, мое почтение! Затосковал прямо без тебя.

Это была хозяйка. Она поворошила лучину в самоваре, постучала ножом в поддувальце, дунула раз — и в самоваре вспыхнуло, загудело пламя.

— Не иначе как слово знает! — подмигнул мне, сказал Мильгунов.

— Товарищ, поди, заждался. Толку от тебя! Иди-ка лучше щепы принеси.

После чая и яичницы, которую нам живо приготовила хозяйка, Мильгунов набил кисет махоркой, дал мне свои новые брюки и пиджак, а мою одежду, сырую от дождя, повесил сушить у печи.

## XVI

Мы пошли напрямик через лес. За дворами, где между гряд с цветущим, теплой сладостью пахнущим картофелем была проторена стажка, нас встретила девушка. Она поздоровалась с нами, и взглянула на меня черными, как початки камыша, глазами, и, чтоб не помять ботву, скользнула рядом, задев меня.

— Видал какая... — сказал Мильгунов. — Бригадир. Звезда давала! Я тебя с ней, хочешь, познакомлю, и Миланову свою забудешь. Кто она теперь тебе? Чужая. Зря вот только ждал ты ее. Вон к голове у тебя с инейком, а молодой. Девчата таких любят.

Вошли в заросли молодого березняка с мокрыми после дождя листьями. Повсюду закигались капли: и на листьях и в траве с синеватыми колокольчиками, с пурпуровыми цветами болотной герани; было влажно, тепло, от пригретых стволов вился парок, и в воздухе горьковато пахло березовой корой.

— Этот человек, к которому идем, Чигирев, — полицейский бывший, — заговорил Мильгунов. — Потом он, правда, в партизаны ушел. Никто в том отряде не знал, кем он был. Так и воевал. А наши когда пришли, признался, что когда-то немцам служил. Что ж, срок дали. А на днях из заключения пожеловал. Жена брата его приютила. Живет пока у нее. Что я к нему иду?

Мильгунов обошел по скошенной траве мочажину, заросшую по краям камышом с черными, словно бы обуглившимися початками, и, выйдя опять на тропку, продолжал:

— Мне, браток, одна история покоя не дает, потому и иду к нему.

Дело-то такое, было в войну еще. Сидел я в секрете с одним товарищем. Весна была, черемухой пахнет, такой воздух, хоть пей, соловьи поют, друг перед дружкой соперничают. Благодать, кабы не война, а что война, то от асей этой благодати сердце горем обливается.

Тамно было, нас в сон клонит. Вдруг видим, со стороны Озер красная ракета поднялась, вторая, за ней третья. Какой-то сигнал, не иначе, думаю.

Доложили об этом в отряд. Тут же и снялись мы. А через час на это место каратели нагрянули налетом со всех сторон. Пошастали они по пустому лесу, назад идут, а мы их у моста и ждем. Тут и гостинцы поставили. Была встреча! После той встречи они на лес только из Озер поглядывали.

Кто-то предупредил нас, дал сигнал, те три красные ракеты. Не будь того сигнала, полетели бы мы, конечно, росла бы из наших костей малина-ягода.

Кто тот человек, который предупредил нас? Командир нашего отряда Жигунов, конечно, знал, кто он. Но в то время не все говорилось. Жигунов и комиссар отряда Батраков погибли. Сейчас, как вспомню, что таких людей нет, наестит у меня на сердце.

Так и осталась вся эта история загадкой. А ведь человек то был, не сами же ракеты поднялись. И, говорят, браток, слух такой прошел, будто сигнал девушка подала, фамилия ее Максимова, а кто такая — и не знает никто.

Опять из той давности донеслось до меня это имя. Я уж и не знал, что думать.

— Вот и иду я Чигиреву, — продолжал Мильгунов, — может, что слышал, когда в Озерах прилабайничал. Это уж, будь уверен, какой они за тот сигнал розыск вели.

## XVII

Чигирев жил в Дражине, на хуторе среди леса, где было так тихо, что мы слышали, как за плетнями в ульях гудели пчелы.

Одиноко перед проулком, затравившим глухой крапивой, стоял мужчина в накинудом на

плечи ватнике, в галошах на босу ногу. Это и был Чигирев.

Мы подошли к нему. Мильгунов посмотрел прямо ему в глаза, но тот не встретил его взгляда, глянул задумчиво на дорогу мутными от тоски глазами.



— Мы к тебе, — сказал Мильгунов.

— Пожалуйста. Милости просим, — проговорил он и пошел впереди нас, опустив голову и выставив остро локти под ватником.

В избе, где было душно и пахло кислым тестом, он убрал со стола кружку, в которой ало зудели мухи, пригласил нас сесть.

— Кваску не угодно ли?

Он поставил перед нами горлач с квасом.

— Не хочу, — сказал Мильгунов.

Чигирев тяжело, как будто болело что у него, опустился на порог.

— Ладно! О чем толковать будем? — произнес он.

— Вот товарищ про Миланову что-то хочет спросить.

Чигирев быстро скрутил сигарку и, закурив, жадно затянулся, раздувая ноздри.

— А словом с моего языка не брезгуете? Квасок-то, он в горлаче, к нему от моих рук не пристанет, да и что было на них, смил я своей кровью.

— Слышали, — сказал Мильгунов.

Чигирев трясущимися пальцами поднес огонь к погасшей сигарке, и я увидел, как поблудило его лицо.

— Не все слышали. И я не без правды. Плохо мне было. Безумничали надо мной на каменном полу. Что ж, подыхать? Нет, я подыхать так не хотел. Согласился служить им, чтоб за это безумство потом лютую ненависть исполнить над ними. Да вот беда, Мильгунов, справки нет у меня на эту мою мысль, что она такая была у меня, мысль.

Вот и Миланова безвестно пропала, потому что без справки-то она проклятая сволочь. А кто ей даст справку, что она не партизана убила, а что предателя она убила? Он, Будаков, отряд-то ваш выдал.

Огненно-жгучая дрожь скользнула по моему телу. Мильгунов медленно отодвинул горлач, мешавший видеть Чигирева.

— Побег-то был устроен, — продолжал Чигирев. — Задумали Будакова на волю пустить, чтоб и дальше он выдавал. А Миланова и подсекла его. Те двое ушли, поди, и сейчас живы, а Будакова зарыли. Кисло, очень кисло командант поздравлял Миланову с удачным выстрелом. Она будто ничего и не знала, выслужаться будто хотела... А потом, уж после, случайное открытие произошло. Начальник гестапо Гринау очень Жигуновым интересовался. Сведения такие были про Жигунова: командовал он в бою за деревню Дебрево. Дотошно

про этот бой все разузнал. Установил, что тогда был взят в плен один человек — девушка. Отправлена она была в лагерь «Казенный лес». Бежала оттуда. А начальник гестапо словцо-то, какие из леса доходили, мимо уха не пропустил. Вот и дошло словцо, что Миланова в лагере была. Послал он в тот лагерь ее карточку. Ответ и пришел: действительно, такая у них в лагере находилась — бежала. Фамилия ее — Максимова!

Мильгунов торопливо скрутил сигарку и, не сводя глаз с Чигирева, бросил мне кисет.

На окнах вдруг заискрились брызги: шел дождь, светящийся под солнцем полосой. Вот в такую минуту узнал я про тебя, Катя! Что ж дальше-то было с тобой? Я боялся, что не услышу, что скажет Чигирев: так зашумел гром!

— Неуловимая Максимова, — говорил Чигирев. — Они искали ее, чуть землю не рыли, чтоб найти, а она, оказывается, рядом с ними была.

Стали за ней наблюдать: с кем связь имеет. Глаз с нее не сводили. В западня была, и крышка-то захлопнулась. Некуда ей деться.

Велено было убить ее. Поздно вечером, когда из комендатуры она шла, схватили ее — я и двое гестаповцев было. В лес заволокли. Тут должны были ее убить, а потом сказать, что партизаны, мол, убили — и концы в воду, так потише, чтоб неприятностей не было из-за нее.

Возле ручья достал я пистолет и двоих гестаповцев застрелил «черту! А ей руки развязал!

«Уходи!» — говорю.

«Нет, — говорит, — у меня девочка там».

И назад пошла. Какая девка была!.. Начнал я ее.

«Я, — говорю, — пойду. У кого девочка?»

Ждала она в условленном месте. Я пошел и принес ей девочку. Расстались. Она своей дорогой пошла, а я своей.

## XVIII

Все, что было рассказано до этих слов, я написал в избе Мильгунова ночью, потрясенный тем, что я узнал.

Осталось добавить мне немного.

Когда мы вышли от Чигирева, Мильгунов повторил его слова: «Она пошла своей дорогой, а я своей» — и после раздумья добавлял:

— Ее дорога и своим, у своих и спрашивать про нее будем.

Потом он попросил у меня карточку Кати. Снял фуражку и, остановившись, долго смотрел на карточку.

— Вот ты какая... Максимова!

Целую неделю ходили мы и ездили с Мильгуновым по лесным сторожкам, по деревням, где после Озер могла быть Катя, и вот, устали, сели на скамейку у станции.

— Если еще к Шелехову зайти... Далеко, брат, да и нет его: к дочери в Смоленск уехал. Вернется неизвестно когда.

У меня кончался отпуск, пора было на работу. Не мог я уезжать, не узнав все до конца.

— Видать, никуда не дошла. А должна была бы дойти, такая отчаянная. Но всякое случается!

Мильгунов обещал написать мне, если что узнает про Катю. Так и решили.

На прощание обнялись мы с Мильгуновым. Кулаком он дотронулся до заблестевших глаз.

— Не поминай лихом! Адрес мой знаешь? Перепривал!

С этой станции я и уехал в Москву.

После лесов и лугов с копнами сена под синим небом комната мне показалась сумрачной и тесной. Я даже удивился, что живу здесь, среди этих каменных стен. Живу ли? Я здесь только сплю: с утра до вечера я на заводе.

После работы я спешил домой, сразу заглядывал в почтовый ящик: нет ли письма? Потом шел на кухню: сюда соседи обычно клали газеты, которые я выписывал. Тут могло быть и письмо. Но писем не было.

Я уже сам собирался написать Мильгунову, как вдруг... Открыл ящик, и оттуда под ноги мне упало письмо в белом конверте.

Я закрылся в комнате. Не знаю почему, но я два раза с хрустом повернул ключ в замке. Со страхом я распечатал конверт.

«Дорогой мой...» — прочитал я.

Мне ли это письмо? Да, на конверте моя фамилия...

В какую-то минуту с быстротой прочитал я письмо и не поверил в то, что было там напи-

«Дорогой мой, — снова, спеша, начал читать я. — Сегодня вдруг узнала, что ты искал меня. Прости, я не думала, что верный ты тем словам останешься даже и без меня. Помнишь, как ты сказал в Нескучном: «Катенька, я люблю вас».

Так это неожиданно было, радостно, как от тех ранних цветов подснежников, которые достала ты мне с обрыва.

Я думала тогда, что это не так бывает, что любовь — это что-то другое. А вот сколько лет прошло — слова твои не погасли, они еще ярче горят для меня в эту ночь.

Как рада я, на всю жизнь рада за твою верность!

Тебе многое известно про меня. Лишь скажу, что после Озер я пришла в деревню Тайково, к Шелехову. У него я могла укрыться, и укрылась. И вот однажды узнала, что на стало командира отряда и комиссара: они погибли. Они одни знали правду про меня... Но главное не в этой правде, а в том, что все сделали для нашего общего дела...

После войны я уехала из Тайкова, училась, а теперь работаю врачом в Загорье, далеко от тех мест, где ты был недавно.

Шелехов знал мой адрес, и сегодня я получила от него письмо. Он рассказал про тебя. Прости, я думала, что ты давно забыл меня!

Живу я с дочкой. Тоня ее зовут. Я нашла ее в лесу возле убитой матери еще в сорок первом году. Теперь ей уж почти столько лет, сколько было мне тогда, когда я стала ее новой матерью.

Сейчас она спит, а я запечатаю письмо, и выйду на крыльцо, и буду смотреть в ту сторону, где Москва, где ты...

...Не забуду я никогда день нашей встречи, наш красный день.

Было раннее утро, моросил дождь, когда я спрыгнула с поезда на станции вблизи Загорья, где жила Катя.

Возле путей, накрывшись от дождя плащом, стояли двое: девушка в капюшоне и молодая женщина с воротом ярко-красных рубин. Пламень их освещал ее лицо с плавным изгибом бровей, которые как бы окрыляли красоту ее радостно сверкавших слезами глаз.

— Катя... Катенька!..



## ЛЮДИ МОЕГО СЕВЕРА

Павел КУСТОВ



### Тепло

Я побывал в краю, где не был,  
Наверное, с десятков лет.  
Все то же сумрачное небо,  
Все тот же ржаво-белый цвет

На всем: на перелесках голых,  
На сенокосах и полях,  
На старых, с виду невеселых  
Уездных бывших городках.

О, как поверхностно мы судим  
О них с дистанции большой!  
Я присмотрелся к здешним людям  
И потянулся к ним душой.

От них тепла немало в сердце  
Ты увезешь к себе домой:  
От устojан и белозерцев,  
Из дальней Витебры самой.

Всегда их круг застольный тесен,  
В беде надежна их рука.  
Как мало все ж поэм и песен  
О них написано пока!

### Родники

От известных центров в отдаленье,  
У истоков северной реки,  
Есть одно старинное селенье  
С красочным названием «Родники».

А за тем селеньем есть пригорок,  
На котором родники найдешь.  
Сколько их всего там: двадцать, сорок!  
Может, еще больше? Не сочтешь!

Хорошо у каменистой груди  
Пропустить живой воды глоток  
И надолго унести отсюда  
Родника бодрящий колодок!

Знать, надаром столько певчей птицы  
На ключи слетается с утра:  
Голос чище от такой водицы,  
Будто станет он из серебра.

И когда хористы в клубном зале  
Целый вечер петь не устает,  
Я шепчу соседям: — Вы не знали?  
Да ведь это ж родники поют!



# Разговор по телефону

Ол. КОВИНЫКА

Рисунок А. КАНЕВСКОГО.

Весна... Зеленеют колхозные нивы. Растет озимь. Буйным цветом цветет.

Что ни говорите, а она, весна, все-таки пришла. Теплая, тихая колхозная весна.

Солнышко ласкает, нежит, и прозрачным, светлым утром встречает, и все приглашает: «Пашите землю! Пашите!.. Разрыхляйте, сейте! Сейте!.. Каждый час дорог!»

А по телефону:

— Семи! Ей-богу, семи!

— Сколько на данный период засеяли?

— Федор Федорович! Тебе конкретно? Тебе на данный период? Тебе как лучше передать: отдельно колосовые, а отдельно пропашные или суммарно? А! По-конкретнее, говоришь? Хорошо! Сейчас!

Из кармана вытаскивается длинная сводка, и начинаются поиски конкретных цифр.

Одной рукой сводку держит, другой рукой телефонную трубку прикрывает:

— Килина Петровна! Что это за чертик в середине графы прыгает!

— Где?

— Где, где! В очках, и не видите! Вот туточки!

— А!.. Так это же не чертик! То жучок... Божья коровка... Влетела в окно и в чернильницу — плюх! Что поделаете, весна!

— Чтоб она скисла! Всю вспашку перемазала! Алло! Федор Федорович! Алло! Ты слушаешь?.. Уточняю...

— Уточняй, я подожду.

Пауза. Тихо. Шелестят развернутые бумажки.

— Федор Федорович! Ждешь?

— Жду.

— Жди. Как там твоя половина пожирает?

— Спасибо! Прыгает!.. А я заною, пока грязно. Подсохнет — сам приеду.

— Конечно, еще грязновато. Мы сеим там, где подсыхает.

— Правильно. Как у вас тягловая сила, что-нибудь тянет?

— Тянет!.. Вот эти два дня кур вывозила в степь.

— Хорошо. А как у тебя с птицей, с яйцами? Повышаются?

— Алло! Против первой декады процентов на двенадцать повысились.

— Неплохо. Сколько у тебя несушек?

— Подходященько. Мы птицеферму расширили. У нас теперь четыре птичника.

— Четыре? Запишу. Василь!

Слушай, я тебя по-товарищески предупреждаю: птица сейчас в центре внимания. Вспашку, посев давай, но и о свежем яйце не забывай. Я, как прикрепленный, горю тебе прямо: ты у меня не заснешь! Я тебя будить буду и за

вспашку и за сев. Ты с этим делом не шути.

— Федор Федорович! Мы не шутим. Мы вчера серьезное решение приняли: развернуться по всему фронту.

— Ха! Развертывайтесь! Мы решили подкинуть вам кадров. Механизаторов... Прибывает к вам народ!

— А! Килина Петровна! Выгоните кон своего гусака. Как разговаривать, так он, проклятый, галгел... Чтоб он сдох! Федор Федорович! Повтори...

— Я спрашиваю: прибавляется ли в колхозе народ?

— Прибавляется!.. Килина Петровна! У кого у нас прибавилось?

— У кладовщика вчера дочка родилась, а у Оксанки, у звеньевой, на рассвете мальчик родился.

— Федор Федорович! Пополняются кадры... Кадры каждый день прибывают...

— Вы им условия создали?

— А как же! Пускай расцветают!

— А кто, диачата или хлопцы? К вам должны прибывать и хлопцы и диачата...

— Федор Федорович! Ты угадал... Прибывают, как по графику. Есть женский пол, есть мужской...

— Вы их не обижайте! Окружайте вниманием... Они как, хорошо одеты? В чем они обмундированы?

— Федор Федорович! Они прибывают обмундированные.

— Как это так?

— Очень просто. У кладовщика вот диачина родилась, а у звеньевой — хлопчик.

— Тыфу ты, да я не об этом!..

— Федор Федорович! Разве ты сам не понимаешь? Весна! Федор Федорович! Ты там не задерживайся, приезжай. Увидишь, как весной пошем, как сеим... Да и щук наловим.

— А щуки есть?

— Есть! Здоровеньки! Вчера одна как махнула хвостом, поверишь, чуть лодку не перевернула. Вот такая чертовка!.. Мы к ней, а она — фью-и-ть! Сверкнула и была такова...

— А что-нибудь все же наловили?

— Наловили... Килина Петровна! Утром твой Василь щуку ловил — наловил!

— «Наловился»... Лежит у кладовщика под брезентом, сам как мокрая щука.

— Наловили, Федор Федорович!.. Лежит у кладовщика под брезентом... Вот такая щука!.. Не видно? Приедешь — увидишь...

— Подсохнет, беспроблемно приеду. Как у тебя с полавим станом для трактористов?

— Сейчас уточню. Килина Петровна! Вы в курсе дела? Грицько начал на клину строить?

— Заходил, сказывал, собираются ехать за досками в Полтаву.

— Федор Федорович! Ты у телефона! Федор Федорович! Ты меня слушаешь? Не слушает! Вот, Килина Петровна, сама слыхала, как люди интересуются посевной? Как они интересуются бытовым положением трактористов? Хотел доложить, что строим. А он трубку бросил.

И один председатель колхоза в одном районе вытер губы.

Должно быть, затем, чтобы не так зудели.

Перевел с украинского  
Е. ВЕСЕНИН.

## ИЗ ЖИЗНИ ПИСАТЕЛЯ

### В гостях у Щепкина

Кто такой пасечник Рудый Панько, автор замечательных «Вечеров на хуторе близ Диканьки», в конце концов стало известно москвичам-любителям литературы. Им хотелось повидать веселого пасечника, да вот беда: Рудый Панько жил в Питере, где и была издана его книга. Быть может, более, чем другим, с пасечником хотелось познакомиться русскому автору М. С. Щепкину. Он хорошо знал и любил Украину.

В один из летних дней 1832 года у гостеприимного и хлебосольного Щепкина обедал человек двадцать пять. Стол был накрыт в зале, и дверь в переднюю была распахнута настежь. В середине обеда в переднюю вошел неизвестный молодой человек лет 22—23-х, в крахмальных воротничках, с кохолом на голове. Пона он, не торопясь, раздевался, обедавшие с недоумением поглядывали на него. Но вот он разделся и, остановившись на пороге в залу, окинул всех быстрым взглядом и, улыбаясь, проговорил слова известной украинской песни:

Ходит гарбуз по горьду,  
Пытается своего роду:  
Ой, чи живы, чи здоровы  
Вси родичи гарбузовы?

Это был сам Рудый Панько — Гоголь, и «родичи гарбузовы» приняли его с распростертыми объятиями.

### В поисках критики

Гоголь не искал похвал, зато внимательно прислушивался ко всяким замечаниям по поводу своих произведений, даже и замечаниям заведомых хулителей. У него был знакомый сановник, весьма далек от литературы; он уважал Гоголя как человека, но терпеть не мог его сочинений. Вот этому-то сановнику Гоголь, который вообще читал неохотно даже признанным ценителям, прочитал девять глав второго тома «Мертвых душ». Зачем вы это делаете? — удивлялся один из друзей писателя. — Он ничего не понимает в изящной литературе и поэзии!

«Что мне за польза, — отвечал Гоголь, — читать вам или кому другому, кто восхищается всем, что я ни написал? А Иван Васильевич (так звали сановника), слушая мое чтение, отыскивает только одни слабые места и критикует строго и беспощадно, а иногда и очень умно. Он иногда, разумеется, говорит вздор, но зато в другой раз делает такое замечание, которым я могу воспользоваться».

О достоинстве своих сочинений Гоголь судил по впечатлениям людей, не искусственных в литературе. «Если они рассмеются, — говорил он, — то, значит, уже действительно смешно, если будут тронуты, то, значит, уже действительно трогательно, потому что они с тем усердием слушают меня, чтобы ни за что не смеяться, чтобы ничем не трогаться, ничем не восхищаться».

### Шляпа Гоголя

В Калуге, в торговых рядах, покупатель выбирал латиную шляпу. Пересмотрев и перемерив немало разных шляп, он наконец взял по своему размеру и вусу, надел ее, заплатил деньги и ушел, оставив старую шляпу на прилажке.

Потому ли, что покупатель сопровождал родственник видного в городе лица или почему другому, но в рядах уже знали, что это известный сочинитель Гоголь, приехавший в Калугу погостить. Когда он ушел, купцы и приказчики стали примерять шляпу. Она оназлась всем велика и одному съезжала на нос, другому падала прямо на плечи.

— Вот это голова! — удивились они. — Недаром он сочиняет умные книги!

А счастливый хозяин лавки, которому досталась необыкновенная шляпа, выставил ее всем на обозрение на верхней полке под стеллянным колпаком.





Под редакцией гроссмейстера  
Сало ФЛОРА

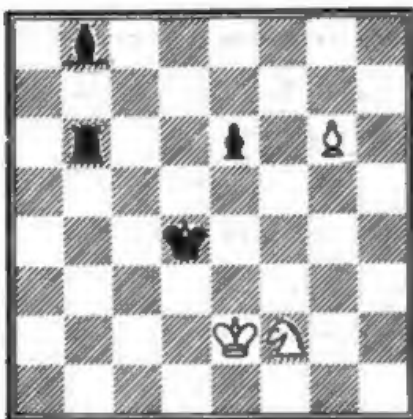
## Красивый этюд

Г. А. Надарейшвили (Тбилиси)

Талантливый грузинский шахматный композитор Г. А. Надарейшвили составил около 60 этюдов, 18 из которых занимали призовые места в разных конкурсах. Этюд, который мы печатаем, получил первый приз в конкурсе газеты «Ахалгазрада Коммунист».

Вот его решение:

1. g6—g7 Лb8—b2+
2. Kpe2—f1 Лb2—b1+
3. Kf2—d1 Лb1—d1+
- Пронгравает 3. Kpg2 из-за 3... Ch2!
4. Kpf1—g2! Лb1—d1+
- Только так. Если 4. Kpf2?, то черные выигрывают путем 4... Ca7!
- 4... Лd1—d3
5. g7—g8Ф Лd3—g3+
6. Kpg2—h1 Лg3—g8
- Белым пат!



Белые начинают и делают ничью.

## Пари

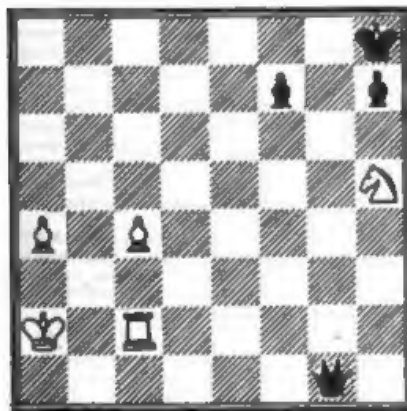
Во время войны в концлагере был замучен известный польский мастер и шахматный композитор Д. Пшепьяна. Приводим один из его самых известных этюдов.

Об этом этюде существует хороший рассказ композитора Монгрениена; даем его в сокращенном виде.

Между постоянными посетителями одного клуба были два молодых человека, которых мы назовем условно Колей и Сашей. Оба они играли в шахматы очень страстно, любили поспорить по всякому поводу. Неоднократно они заключали пари в сложных позициях, задачах и этюдах.

Однажды вечером Коля явился в клуб и показал присутствующим позицию, изображаемую на нашей диаграмме.

— Саша последние два пари у меня выиграл, — сказал он, — но сегодня я его поймаю. Первый ход очевидный — 1. Лс2 — e2. Черные не могут играть 1... h6 из-за потери ферзя. Его лучший ответ 1... Фg1 — g8.



Белые начинают и выигрывают.

— Это не поможет, — заметил один из присутствующих — сильный шахматист, — потому что после 2. Kh5—f6 выигрывается ферзь. — Правильно! — заметил Коля с радостной улыбкой. — Вот и мне и Коле я его и поймаю! Хотя 2. Kh5—f6 выигрывает ферзя, но партия заканчивается после этого ничью после 2. Фg8—g1. 3. Лe2—

e8+ Kph8—g7 4. Лe8—g8+ Kpg7—h6 5. Лg8—g1, и черным пат!

— Здорово, это очень красиво! Но какое же тогда правильное решение этюда? — спросил сильный шахматист.

— После 2. Kh5—f6 у белых только ничья. Но выигрывает 2. Kh5—g7! — с важным видом объяснил Коля.

Все с увлечением изучали позицию. В это время в клубе появился Саша.

— Ни одного слова, — просил Коля присутствующих. — Посмотрите, как это сейчас «куплю».

— Добрый вечер! Что тут делается? — обратился к друзьям Саша.

Коля быстро поставил начальную позицию этюда и сказал:

— Вот позиция, которую я вообще должен был выиграть, но не заметил лучшего продолжения. Посмотрите сам, что можно сделать белыми!

Саша сел за стол, посмотрел, подумал и заметил:

— Ничего особенного, я играю: 1. Лe2.

Коля нарочно призадумался и ответил:

— 1... Фg8.

Саша сделал ход 2. Kf6 и сказал:

— Этим ходом я выигрываю.

Коля вскопчил.

— Ты уверен в этом?

— Абсолютно, — ответил Саша.

— Я предлагаю пари, что после этого хода ты не можешь выиграть!

— Я согласен заключить пари, — ответил Саша.

Коля был доволен, закурил папиросу и уже наслаждался выигрышем. Несколько минут он делал вид, что над чем-то серьезно думает, и сыграл 2... Фg1. Наступила тишина. Неожиданно Саша сыграл 3. Kf6—h5. Лицо у Коли вытянулось. Поскольку другого выхода не было, он быстро сыграл 3... Фg8 и неуверенным голосом комментировал:

— Если ты хочешь делать ничью повторением ходов, пожалуйста, я не возражаю.

— Ничего не поделаешь, я играю 4. Kh5—g7! — сказал Саша.

Коля сдался. Саша похлопал его по плечу.

А мораль этого рассказа еще такова: не рой другому яму: сам в нее попадешь!

## СТОЛЕТИЕ «ШАХМАТНОГО ЛИСТКА»

Столетний юбилей отмечает русская шахматная журналистика. В 1859-м начал выходить первый шахматный периодический орган в нашей стране — «Шахматный листок». Журнал этот свидетельствовал о больших успехах шахматной науки в России.

Но вскоре над «Шахматным листком» собрались тучи. Летом 1862 года царское правительство закрыло «Русское слово», в качестве приложения к которому выходил «Шахматный листок». Была сделана попытка выпустить журнал самостоятельно, но после недолгой отчаянной борьбы за существование он умер голодной смертью. На декабрьском номере за 1863 год издание «Шахматного листка» прекратилось.

Так же печально сложилась судьба всей русской шахматной прессы в дореволюционные годы. До 1917 года девять раз предпринимались попытки создания отечественного шахматного органа. Из них три были связаны с именем М. Н. Чигорина. Но ни одному из этих журналов не удалось протянуть более пяти лет, а иные умерли уже через несколько месяцев.

«Причина эта, — с горечью писал М. Чигорин, — заключается в недостаточности средств и в таком малом количестве подписчиков, что подписная сумма не покрывает даже типографские расходы и рас-

ходы на бумагу... Я и другие шахматисты посвящали ему свой труд безвозмездно».

Сколько же подписчиков требовалось для поддержания журнала? Оказывается, всего 250, но набралось их на всю Россию менее половины этого количества...

Новая эпоха в развитии шахматной печати открылась в советское время.

Сейчас в нашей стране выходят два больших ежемесячных журнала: «Шахматы в СССР» и «Шахматный бюллетень». Есть своя двухнедельная газета — «Шахматная Москва». Первые шаги делает «Бюллетень Центрального шахматного клуба СССР».

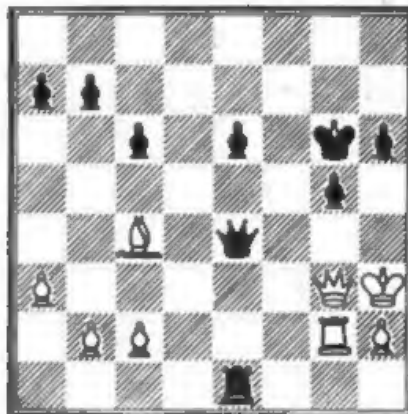
Советская шахматная печать завоевала широкое международное признание. Об этом говорит недавнее выступление на страницах журнала «Лондон иллюстрирует» видного английского мастера Б. Вуда.

Он дает восторженную оценку серьезному характеру советских шахматных журналов, высокому качеству публикуемых в них материалов. Английский мастер подчеркивает, что этим в немалой степени объясняются секреты блестящих достижений гроссмейстеров и мастеров нашей страны на международной арене.

И. РОМАНОВ,  
кандидат исторических наук

## КОМУ ЖЕ СДАВАТЬСЯ?

В одной партии между двумя немцами любителями возникла следующая позиция.



Ход черных.

Черные сыграли 1... Лe1—e3. Какая головная боль, играющий черными, обратился к партнеру с призывом:

— Сдавайтесь!

— Как бы не так! Мне сдаваться? Смешно. Вы думаете, я не предвидел ваш ход Лe3? Все видел. Я предлагаю вам сдаться, — говорил бодрым голосом играющий белыми и «со стуном» сделал ход.

2. Сс4—d3. Партнер задумался.

— Да, это, кажется, и «зевнул». Неужели мне действительно надо сдаваться?

— Конечно, что тут еще можно придумать!..

— Минуточку, минуточку, спойно. Сдаваться никогда не поздно, — сказал первый и сделал изящный ход...

2... Kpg6—h5. — Сдавайтесь все же вы, мой дорогой! — добавил он.

Партнер, играющий белыми, едва слышно произнес: «Что за странный ход!» — но тут же убедился, что ход вовсе не странный, а решающий. В случае 3. С: e4 следует g5—g4 мат.

Сдаваться пришлось белым. Еще раз оправдалась поговорка: хорошо смеется тот, кто смеется последним!

## НЕ СОВСЕМ...

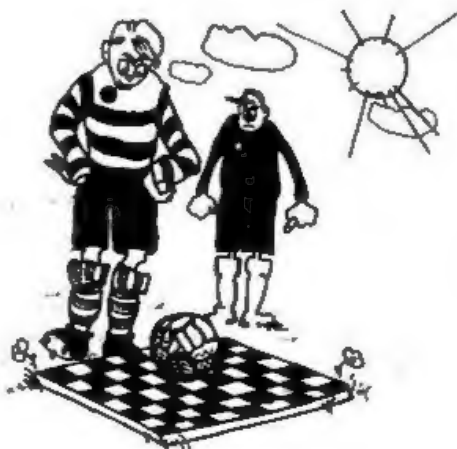
Заслуженный тренер СССР римский мастер Александр Кобленц был вместе с чемпионом СССР М. Талем на мемориальном турнире в Портороже. В один из выходных дней состоялась прогулка, и Кобленц, у которого хороший и приятный голос, исполнил арии на русском и итальянском языках. К тенору подошла дама и сказала:

— Я благодарю за удовольствие. Ваше пение мне напоминает большого художника!

— Карузю? — нетерпеливо спросил Кобленц.

— Нет, Василия Смыслова!

## ШАХМАТЫ И ФУТБОЛ



У руководителей футбольного клуба «Падим Гетсиль» (Ирландия) появилась неплохая идея: они предложили футболистам играть в шахматы, чтобы до начала матча культурно отдохнуть и, так сказать, наметать стратегические планы наступления. Ребята с удовольствием играли в шахматы и слишком увлеклись...

Через некоторое время шахматы были отняты у футболистов. В чем дело? Тренер команды заявил, что они вредят команде: с тех пор как футболисты стали играть в шахматы, они слишком долго задумываются над «очередным ходом» с футбольным мячом!

Рисунок В. Жутовского.



## ДЕРЕВЯННЫЙ ДРАКОН

Я провёл свой отпуск на Байкале и на всю жизнь запомнил удивительное и величественное море-озеро. Однажды на безлюдном берегу я увидел выброшенные бурей на отмель деревья. Одно из них напоминало какое-то фантастическое животное. Его я сфотографировал на память о Байкале.

Серпухов.

А. ПИСАРЕВ

## Верхом на дельфине

Многие читали научно-фантастический роман А. Беллеза «Человек-афибия» и помнят, как Иктамандр, приручив морского дельфина, использовал его для передвижения по воде и под водой. Оказывается, писатель был недалек от истины. На фотографии, взятой из итальянского журнала «Шьенца э анта» («Наука и жизнь»), вы видите человека на дельфине, которого испанцы называют буфео. Научное название его — иния.

Из многих видов дельфинов, существующих на земном шаре, некоторые живут не только в морях, но и в пресных водах больших рек Индии, Китая и Америки. Иния обитает в притоках рек Амазонки и Ориноко. Он может быть легко приручен. Редкий снимок сделан в аквариуме штата Флорида.

Москва.

А. РЕВИН

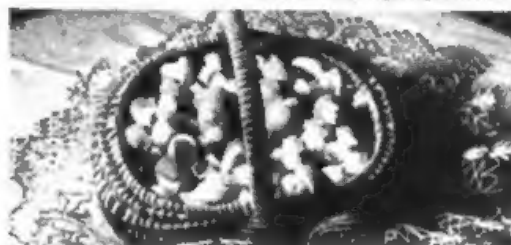
## Грибы из теста

Свыше трехсот экспонатов осмотрели на выставке прикладного искусства жители города Серова, Свердловской области. Главным ее явлением была небольшая корзинка, доверху наполненная грибами маслятами. Не всякий мог заметить, что грибы не из леса. Табличка выдавала, что это печенье пенсионерки Марии Ивановны Чебышевой. Разноцветная окраска изделий достигнута мастерицей с помощью желтого и сахарного глазировки. Ножка гриба снизу присыпана зернышками мака, будто лесной землей. Некоторым счастливицам из посетителей удалось попробовать грибы из теста.

Серов.

А. ГИРЕВ

Фото Н. Грибушкина.

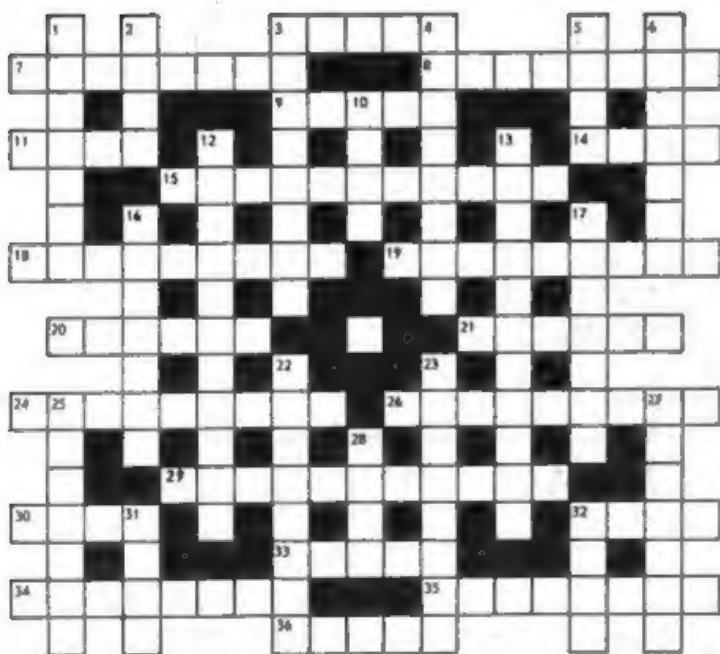


БЕЗ СЛОВ.

Рисунок Г. Оганова.



## КРОССВОРД



По горизонтали:

3. Спортивная игра с мячом. 7. Современная чешская писательница. 8. Вспомогательные сплавы в металлургии. 9. Персонаж в пьесе А. С. Пушкина «Каменный гость». 11. Ракообразное морское животное. 14. Непаханная земля. 15. Один из авторов Афоризмов Козьмы Пруткина. 18. Раздел медицины. 19. Песня на слова Н. А. Некрасова. 20. Вулкан. 21. Театральное объявление. 24. Автор первого русского печатного курса математики. 28. Многолетнее луковичное растение. 29. Специалист, изучающий мельчайшие организмы. 30. Чувство меры. 32. Одежда. 33. Название верхнего течения Сыр-Дарьи. 34. Детский иллюстрированный журнал. 35. Полярный исследователь. 36. Древний город в Малой Азии.

По вертикали:

1. Местность, затопляемая в половодье. 2. Трос на судно. 3. Горная порода, используемая при строительстве дорог. 4. Водная птица. 5. Голландский живописец XVII века. 6. Восточнославянское племя. 10. Приток Волги. 12. Действующее лицо в повести Н. В. Гоголя «Нос». 13. Народный артист СССР. 16. Итальянский порт. 17. Старинный поэтический жанр. 22. Один из основоположников армянской фортепьянной музыки. 23. Вершина Урала. 25. Терраса для воздушных ванн. 27. Советская антарктическая станция. 28. Наряд, одеяние. 31. Дерево, дающее техническое масло. 32. Название глубоких долин на Дальнем Востоке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НАПЕЧАТАНЫ В № 13

По горизонтали:

6. Прямоугольник. 8. Поступь. 9. Эпиграф. 11. Тимур. 12. Стадный. 13. Скрипка. 16. Топаз. 18. Вумазел. 19. Карст. 20. Вакханов. 21. Календарь. 23. «Олеся». 25. Корюшка. 26. Локва. 30. Квартал. 31. Салерно. 32. Штамп. 34. Капелла. 35. Обаяние. 36. Регламентация.

По вертикали:

1. Липунов. 2. Вольт. 3. Агломерат. 4. Глиэр. 5. Антипин. 6. Посадка. 7. Корсика. 8. Петропавловск. 10. Фокусирование. 14. Суворов. 15. Ремарк. 17. «Знамя». 19. Канал. 22. Мюллер. 24. Скрепер. 27. Океания. 28. Заслуга. 29. Нанайцы. 32. Шалаш. 33. Почта.

## Маленький турист

Павлику нет еще и двух лет, а у него уже большой опыт путешествий по чудесным местам Подмосковья. Устроившись на раскладном подвесном стульчике, Павлик и зимой и летом отправляется в воскресенье на прогулку. У юного путешественника «на счету» десятки километров пройденных папой дорог.

Из молодых родителей не знает, как трудно нести на руках малыша! Вот я и сделал походный подвесной стульчик. Каркас его изготовляется из стальной трубки и состоит из дугообразной спинки, поручня, подвесного сиденья и подножки. Все части стульчика шарнирно соединены между собой, фиксирование их в определенном положении производится прочным шнуром. Вес стульчика — полкилограмма. Сиденье и подножка обшиваются плотным материалом.

Остается крепко привязать стульчик к кольцу рюкзака, а еще лучше пришить ламин к спинке, и отправляйтесь в путешествие.

А. ШАРУНИН,  
мастер спорта

Москва.

Главный редактор — А. В. СОФРОНОВ. Редакционная коллегия: Б. В. ИВАНОВ (ответственный секретарь), Н. Н. КРУЖКОВ, Л. А. КУДРЕВАТЫХ (заместитель главного редактора), Л. М. ЛЕРОВ, Д. Т. ЛОБАНОВ, И. Ф. ТИТОВ, Н. П. ТОЛЧЕНОВА.

Адрес редакции: Москва, Д-47, ул. «Правды», 24.

Рукописи не возвращаются.

Оформление В. Епанешникова.

Телефоны отделов редакции: Секретариат — Д 3-38-61; Отделы: Внутренней жизни — Д 3-39-07; Международный — Д 3-38-63; Искусств — Д 3-38-33; Литературы — Д 3-31-83; Библиографии — Д 3-38-26; Наука и техники — Д 3-38-65; Юмора и сатиры — Д 3-32-13; Спорт — Д 3-32-67; Фото — Д 3-35-49; Оформление — Д 3-38-44; Писем — Д 3-38-28; Литературных приложений — Д 3-30-39.

А 00861.

Подписано к печати 25/III 1959 г.

Формат бум. 70X108/4.

2,5 бум. л. — 6,85 печ. л. Тираж 1 500 000. Изд. № 602. Заказ 671.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина. Москва, Д-47, ул. «Правды», 24.





Фронтиспис.

«Я прямо пробрался в уборную... Я, однако же, не сказал ей, что я испанский король».



«В Испании есть король. Он отыскался. Этот король я».

Депутация из Испании.





Цена номера 3 руб.

